

о. Николай  
(Толстиков)

г. Вологда

# БЕЗ РОДУ-ПЛЕМЕНИ

маленькая  
повесть



РАССКАЗЫ  
СТАРОГО  
БАТЮШКИ - 5

1

Злые брехучие языки в Городке твердили, что школьный словесник Артур развёлся с женой и ушел в старый родительский дом помирать и что на усыновленного ребенка он исправно платит бывшей супружнице алименты. И были правы...

Засидевшийся прочно в холостяках Артур стал приглядываться к приезжей учительнице: в доме, после родителей, было ему одиноко и жутковато. Новая школьная коллега была еще довольно юной, но уже в студентках прижила ребеночка и как-то оказалась после института в Городке. Бабешка востроглазая, однажды разок обожглась и потом своего ни за что не упустит — злопыхали сплетники.

Артур и не заметил, как его охомутили: видный всё-таки мужчина, пусть и немолодой. Чем-то походила Алёна на Вику, давнюю первую любовь, но — жаль — оказалось это только внешне. Жила Алёна в рабочем общежитии — проходном дворе, зазвала она как-то раз в гости провожающего ее вечерком после второй школьной смены Артура. В соседней комнате разгулялась пьяная компания: Алёна после каждого разудалого выкрика за стенкой испуганно вздрагивала и умоляюще смотрела на своего гостя. Ему пришлось остаться до утра.

Сотворилось всё будто в каком-то тумане, перед этим и сами они выпили — у Алёны бутылка вина нашлась. Артур, лёжа в постели рядом с Алёной, на мгновение задремал — привиделись ему удивленно распахнутые глаза Вики, первой любви...

Всё было решено, иначе он и не поступил бы: отвёл Алёну под руку в загс. А тут ещё квартира при школе для молодожёнов освободилась. Алёна привезла из другого города трехлетнего сынишку, и Артур, к изумлению обывателей, тотчас же его законно усыновил.

Подивились бы в Городке этому супружескому союзу — всё-таки на двадцать с лишним годков разница, посплетничали бы да и поуспокоились потом: живут вместе люди, и ладно. Вот только неожиданная семейная жизнь Артура с самого начала не задалась...

Не успел он мало-мальски к мальчонке попривыкнуть, и тот, стало быть, привязаться к новому папе, как заявили дед с бабкой с «той» стороны, возжелали приласкать, понянчить внучка. Проснулось родительское чувство в «биологическом» отце — стал навещать прыщавый парнишечка

чаще и чаще, поселяясь в местном «клоповнике» — Доме колхозника, подкарауливая Алёну с сынишкой по дороге из детского садика.

Потом они по хорошей погоде гуляли где-то долго допоздна; отец на руках приносил к крылечку спящего сына. Алёна перехватывала у него мальчугана и, украдкой чмокнув в щеку бывшего дружка-любовника, спешила прошмыгнуть в открытую дверь мимо Артура, стоявшего молча у порога. Он всё видел в окно и чувствовал себя не как муж, а как отец, подглядывающий ревниво за припозднившейся с гулянки взрослой дочерью...

Надо ли радоваться подступившей болезни, но в ней Артур увидел выход. «Срочную» он служил в ракетных войсках и где-то на полигоне, не ведая об этом, хватанул дозу облучения. Поначалу болезнь крови особо не донимала, не доканывала; Артур, подкрепляя здоровье, ездил летним отпуском в санатории и только уж потом, после «сороковника», стал вылеживаться и по больницам. Худо-бедно он выправлялся, а вот в последний раз лечащий врач, настораживая Артура, уклончиво отвёл в сторону взгляд...

Но в школе начинались каникулы.

## 2

Дом Артура стоял от городской окраины на отшибе, на речном мысу. Строили его напех, из бруса, ладя под какую-то контору, и получился он сущий барак баракком с нахлобученной плоской крышей. Большие окна тепло не держали, пронизывали домище суровые сквозняки, и конторский изнеженный люд скоро переселился по другому адресу, а дом отдали под квартиру большой семье Поповых.

Отец, учитель математики и по совместительству трудовик, законопатил паклей все щели, печи сам сумел переложить, и теперь грели они напропалую — ребятишки в одних рубашонках по избе носились.

Отец и Михаил Иванович — историк, хотя и в одной школе преподавали, и были свояками, но явно не дружили.

В праздник, а в День Победы — и всегда, Михаил Иванович, уже слегка навеселе, навевался к Поповым. В руке болталась авоська с поллитровкой, под мышкой зажата балалайка — грузный, как медведь, Михаил Иванович протискивался в

проем двери с приветственным возгласом. Александру Васильевичу, отцу Артура, он был полной противоположностью. Сухонький, с головой, обметанной седым пухом, конфузливо морщась, отец не по-хозяйски жался в дальнем углу за столом, терпеливо выслушивая какую-нибудь историю Михаила Ивановича, который то и дело громко всхохатывал, так что отголоски его смеха долго еще метались по комнатам дома.

Однажды Михаил Иванович отца ненароком сильно обидел. Случилось это из-за Мишки-младшего, Артурова ровесника. Артур тогда доучивался на последнем курсе пединститута, старшие его братья давно разьехались по разным городам и обзавелись семьями, лишь единственный отпрыск Михаила Ивановича болтался не пришей кобыле хвост. Пробовал парень где-то учиться, но неизменно «скисал», учебу забрасывал. Рискнул как-то уехать подальше от дома и поступить в кинотехникум в Загорске; над Михаилом Ивановичем земляки еще подтрунивали: дескать, сынок-то твой в попы ударился! Михаил Иванович, как заядлый атеист, поначалу отшучивался, терпеливо убеждая всех в том, что его сын в киномеханики подался, но никак не в «служители культа», потом злился, отходил прочь, чертыхаясь, от остряков. Впрочем, длилось это недолго — кинематографическая стезя Мишку не увлекла, и он благополучно вернулся домой.

Вот тогда в очередной праздник за бутылочкой и попенял Михаил Иванович отцу Артура:

— Тебе, Александр Васильевич, хорошо! На войну тебя не взяли, сидел ты в тылу да преспкойно ребят кропал и растил. Потому и умные они у тебя. А я после войны одного сподобился соорудить, и то — оболтус!

Михаил Иванович так ляпнул, видно, в сердцах на своего отпрыска, не думая обидеть сотрапезника, но отец потом переживал сказанное, глотая сердечные капли. Перед самой войной он, искупавшись в половодье в ледяной воде, заболел туберкулезом, потому на фронт и не попал, но и в тылу лиха хватил, едва выправился. Михаил Иванович скромно провоевал рядовым в войсках химзащиты, вернулся без царапинки и женился на младшей сестре жены Александра Васильевича.

Мишка был запоздалым долгожданным ребенком...

Отец после того запальчивого, не подумавши сказанного упрека избегал общества свояка, в праздник уходил из дома с раннего утра, но потом, видимо, простил все-таки искренне недоумевающего родственника. И все же настороженно и зажато сидел за столом, пока выпитые рюмочки не делали свое дело. Отец отмякал, начинал улыбаться в ответ на балагурство Михаила Ивановича. Потом они оба уходили на лавочку в прибрежных зарослях ивы в дальнем углу огорода. Михаил Иванович, тренькая на балалайке, надтреснутым баритоном напевал про «золотые горы»; Александр Васильевич тихонько подтягивал ему. Здесь, в ивняке, вряд ли бы кто увидел и осудил двух старых учителей, понуривших посеребрянные сединой головы, вспоминая далекую деревенскую юность.

Зинаида Петровна, худошавая женщина с болезненным лицом, супруга Михаила Ивановича, обычно приходила к концу «посиделок». В компании старшей сестры, матери Артура, чаевничала она обычно молча, терпеливо дожидаясь, пока муж набренчит на балалайке. А если и заговаривала, то о ничего не значащих пустяках.

В глаза друг дружке сестры старались не заглядывать: чувствовалась будто какая-то виноватость между ними. Словно хотели они о чем-то важном и наболевшем переговорить, но не решались или просто боялись. А почему — так и оставалось тайной.

## 3

Артур с двоюродником Мишкой виделись редко, и то будто не родня. Чистюля Артур, до синевы выбритый, в отутюженном костюме, при галстукке, чинно вышагивая по улице, издали замечал топчущегося неуклюжим чумазым раскорякой Мишку где-нибудь на перекрестке. Свернув в проулок, он норовил непутевого братца обойти, а уж когда это не удавалось, торопливо, мимоходом пробегая, кивал ему. Мишка провожал Артура недоуменным жалобным взглядом.

Братец, как и в юности, тыкался-мыкался туда-сюда, начинал дело и тут же забрасывал, куда-то уезжал и еле живой возвращался. Добро ему было, покуда живы были родители. Поджегивался Мишка, говорили, на чужой стороне не

раз, но неизменно изгоняли его супружницы. И дома разделить с ним судьбу из женского пола никто не отчаялся, жил Мишка один в родительской квартире. Гонять по чужим краям ближе к «полтиннику» он отяжелел. Напоследок еще приткнулся работать связистом. Даже форсисто задира нос в забегаловке: «Кто не любит пыль и грязь, пусть идет работать в связь!» Но закончил карьеру опять традиционно — пинком, полученное под зад. Но не унывал, труждался в последнее время землекопом в водоканале.

Артур немало удивился, когда услышал, что двоюродный братан стал захаживать в храм. «Совсем, видно, свихнулся!» — решил. Отец Артура был убежденным атеистом, в том же духе и сына воспитывал...

Мишка однажды заявился зимним вечером. Артур, прибежав по морозцу из школы, растапливал печку. Запас сухих дров заканчивался, а сырые поленья из привезенного только что воза гореть не желали. Артур извел впустую кучу берестяной растопки и целый коробок спичек. В сердцах плеснул остатки керосина из банки в топку — едва успел отпрянуть от пыхнувшего навстречу пламени.

В это время в сенях что-то пробрякало, кто-то брел неуверенно в потемках шаткими шагами. Дверь распахнулась, на пороге обстукивал снег с валенок Мишка.

— Ты это чего, братец? — он, изумленный, провёл себе ладонями по щекам.

Артур заглянул в зеркало и побежал к рукомойнику отмывать следы копоты на лице.

— Да, живешь... вроде меня! — Мишка обвел взглядом пустынную горницу со столом посередине, с солдатской кроватью возле печки и библиотекой во всю стену до потолка, где книги теснились на неструганых досках-полках.

Был Мишуня явно навеселе, долго не церемонясь и не ожидая особого приглашения, скинул с плеч ватник, сел за стол и торжественно выставил пол-литра.

— Слышал я, что приболел ты, брат, вот и решил проведать.

Артур еще топтался в замешательстве, сунулся было печку дальше расшуровывать, но дрова, чадя и шелкая, уже разгорелись.

— Так ты это... — Мишка распечатал бутыл-

ку. — Притащи стаканчики да чё-нито занюхать! Выпьем, учителя тоже люди! Глядишь, и полегчает тебе...

Артур сел напротив и, морщась, поддержал компанию.

Разговор этот затеял опять-таки Мишка...

С того вечера он стал заходить к Артуру частенько, когда посидеть и поразглагольствовать за бутылочкой, а когда и просто на пять минут поповедать — жив, и слава богу!

— Ты знаешь, что мы с тобой — поповское отродье? — спросил однажды, подхохатывая, быстро подзахмелевший Мишка.

В ответ Артур пожал плечами: как-то родители об этом никогда не говорили, да и сам не интересовался.

— Прадед наш Николай был священником, настоятелем храма в городе, а наши матери, стало быть, ему внучками приходились, — продолжил Мишка. — В тридцать седьмом прадедов храм коммуняки закрыли, самого попа на улицу выгнали. А потом и вовсе арестовали как врага народа. Будто попы местные заговор против власти составили... Сын и вся его семейка от отца отреклись публично, через газету. Шкуру, что ль, свою спасали?

— А что дальше с прадедом было?

— Что-что? Говорят, «шлепнули» его вместе с двумя десятками попов и диаконов да закопали где-то в урочище на Поповых горах.

— Откуда об этом знаешь?

— Мать перед кончиной рассказала. То, что они из поповской-то породы, скрывали всю жизнь, боялись. Я после того и в храм иногда захожу, свечки за упокой ставлю... Потому так и живем, что не помним и не знаем ничего. Как безродные!

После ухода Мишки Артур, не раздеваясь, забрался на кровать и, пытаясь согреться под одеялом, долго не мог уснуть, раздумывая. Почему-то вспомнилось, как переглядывались при редких встречах мать с родной сестрой — быстро и сразу потупив виновато глаза. О Боге, о церкви в доме никогда не звучало ни словечка, как и прадеда-священника не поминали. Отреклись, видимо, напрочь. Да и с Артуром если б кто завел разговор о «божественном», посмотрел бы он на того как на помешанного.

Заныло вдруг все тело, стало мутить — опять подступала болезнь, но вскоре поотпустило, и разлившаяся слабость перешла в дремоту: «Как, интересно, выглядел он, прадед священник?..»

#### 4

Священник старик, подоткнув за пояс полы поношенного, с заплатками, подрысника, опираясь на клюшку, отважно преодолевал лужи, разлитые по дороге осенними дождями.

Этот путь, через весь город, из заречья и до единственного, еще не закрытого властями кладбищенского храма отец Николай проделывал почти каждое утро, пропускал только, уж когда совсем нездоровилось. Свой храм, где он прослужил настоятелем не один десяток лет, теперь был обращен в пересыльную тюрьму; отобрали и дом у старого попа. Отец Николай, собрав в узел нехитрые пожитки, вышел из дома без ропота: матушка давно в Царствии Небесном, детки — взрослые и живут отдельно своими семьями. Постоял старик у церковной ограды, опутанной поверху колючей проволокой, и идти ему было некуда и не к кому. Дети отказались от отца публично, через газету: «Отрекаемся напрочь от поповского сословия!» Он не осуждал их: хоть так попытались спастись. А спасут ли душу? Мысль эту старик старался отогнать. Бог им судья. Не к ним же на житье проситься, подводить их.

Топчущегося в замешательстве священника окликнула старушка просфорница:

— Батюшка, не горюй! Найду для тебя угол, куда притулиться!

Мир не без добрых людей...

Комок земли ударил отца Николая по спине: от неожиданности старик споткнулся и под улюлюканье мальчишек едва не упал ничком в лужу. Пацаны, окружив старика, прыгали, ровно бесенята, было их с полдесятка.

— Замарашкин! — перевирая фамилию, дразнились они.

Комья грязи полетели опять.

Уже не первый раз хулиганы подкарауливали батюшку на мосту, улюлюкали, кривляясь, строили рожи, выкрикивая наверно им самим непонятные обидные слова: «Тунеядец, мракобес!..»

Научил кто-то. Но чтоб грязью кидались!..

Старик беспомощно закрыл руками лицо, бормоча: «Что вы, чадушки?! Разве можно так-то?..»

Батюшке заляпали грязью весь подрясник, даже с полей шляпы скатывались ошметки, когда вдруг рядом пророкотал знакомый бас:

— А ну брысь, охломоны!

И тотчас вторил ему щенячий взвизг:

— Пусти, дяденька!

Неподалеку стоял и прочно держал за ухо долгоязого парня диакон Суворов. Этот парень, постарше прочих, топтался в сторонке и, похихкивая, науськивал мелюзгу. Напуганная диаконским рыком пацанва бросилась врассыпную; заводиле диакон крутанул ухо и легким шлепком отправил вслед за остальными.

Александра Суворова в округе хулиганствующице, да и не только они, побаивались. Поповского сына силушкой Бог не обидел, острым и метким языком — тоже. Наверное, из-за второго свойства Алексашка прочно и, похоже, навсегда застрял в диаконах: брякал, не церемонясь и не осторожничая в лицах, правду. А хулиганам он дал крутой окорот. Здесь же, на мосту, зимним сумеречным утром спешащего на службу диакона подстерегли трое грабителей — не желторотых юнцов, а крепких мужиков. С диакона попытались содрать теплую рясу с меховым воротником, видимо, приняв ее за богатую шубу, но с единственным наследством, оставшимся от отца, Александр не пожелал так просто расставаться. Его кулаки размером с хорошую детскую голову скоро усмирили грабителей. Один собрался пырнуть диакона ножом, но Александр завернул руку бедолаге и перебросил его через перила моста — тот, шлепнувшись на лед, заскулил и, корчась от боли, тоже дал ходу.

Диакон выгтер горстью снега покаябанное лицо и поторопился на службу.

Кто-то, может, видел, как он разделялся с грабителями, или сам он где похвастал — поговорить за чаркой Александр был любитель, но упрекнул его однажды один «младостарец». Мол, мог бы и со смирением тумачи стерпеть и рясу, как последнюю рубашку, поступая по-братски, отдать, на что диакон, ухмыляясь, отвечивал: «Бог-то Бог, да сам будь не плох!»

И вот сейчас своими ручищами легко извлек старца из лужи, заботливо отряхнул:

— Тебя, отченька, впрямя как первомученика

протодиакона Стефана иудеи попотчевали... Хоть не камнями, и то ладно!

— Что творится на белом свете! Думал ли, что доживу! — едва поспевая за шагавшим вразвалку, будто медведь, диаконом, плачущим голосом причитал отец Николай. — Я ведь крестил их младенцами, родителей их крестил...

— Бес их закрутил! — сурово буркнул диакон.

Отца Николая в народе прозвали «скорым воспомоществованием». В любую непогодь или стужу он шел на «требы» к своим прихожанам — большого причастить Святых Христовых Тайн, а кого и в последний путь напутствовать. Бывало, и ночью спешил, коли требовалось незамедлительно, — только мелькал свет фонаря — «летучей мыши» в его руке в глухих городских закоулках.

Все прошло... И люди теперь стали бояться к священнику даже приблизиться. Как к прокаженному.

## 5

**В** епархии ожидали приезда нового архиерея...

Прежний, преосвященный Стефан не пробыл на кафедре и двух лет, как и его предшественник. Кафедра долго «вдовствовала», и прибывшему древнему старцу все радовались — уж его-то, надеялись, власти не тронут.

Не уберется владыка.

Теперь, в тридцать седьмом, не в двадцатых, прямо посреди службы в храме священнослужителей не арестовывали хмурые дядьки в кожанках. За преосвященным Стефаном даже «воронки» не послали ночью; отправили нарочного с повесткой явиться владыке в управление НКВД.

Хотя еще и не наступил Великий пост, старец архиерей на последней своей литургии, прощаясь, с солеи земно поклонился народу. И еще перед этим возложил на голову протоиерею Николаю, почти своему ровеснику, давнюю, не полученную вовремя от патриарха Тихона награду — митру, подумав с горечью, когда хор подхватил громко «Аксиос!»: вот и еще один мученический венец в такие преклонные лета служителя Господню принимать.

Из епархиального управления он убрел поутру, опираясь на посох и плечо келейника, и назад не вернулся...

Ильинский храм, куда добирались пешком через весь город протоиерей Николай с диаконом, остался единственным, где еще правили службу.

До начала вечерни выпадало время, и они свернули к небольшому домику на краю погоста — просфорне и покоям отца настоятеля. Настоятель отец Василий Аполлосов был не поклонник роскоши в своем «покое» — в узкой, похожей на пенал, комнате в красном углу теплился огонек лампадки перед иконами, тянулись лавки вдоль стен, да стол громоздился посередине.

По столешнице был расстелен лист бумаги с наспех набросанным чертежом. Над ним склонился отец Василий — высокий, с поджарой фигурой, с залысинами на голове и редкой, с проседью, бородкой, обрамляющей широкие скулы. Навстречу вошедшим он сердито блеснул стекольщиками очков.

— Вот поглядите! — кивнул на чертеж. — Слухи явью стали!

Слухи разносились по городу меж тем давно: будто бы напрямик по погосту власти собрались прокладывать железнодорожную ветку. Кресты и памятники пустили бы под бульдозер, и почти вплотную к стене храма стали бы носиться, гудя, паровозы, волоча за собой вереницу вагонов.

Отец Василий благословил сбор подписей прихожан против грядущего святотатства. Поначалу в приходском совете сомневались — не побоятся ли люди подписываться, но нет: набралась целая стопка испещренных закорючками подписей листов.

С ходатайством и с этой «подписной» папкой отец Василий поспешил в приемную к новому архиерею, но тот и не подумал его принять. Недосуг.

— Побоялся! Доложили уж согладатаи! — усмехнулся диакон. — Только-только из столицы к нам, грешным, приехал и остерегается, чтобы вслед за владыкой Стефаном дальше, на «севера», не отправили.

Диакон сам успел на «северах» покуковать, но недолго, с год. На Пасху на крестном ходу комсомольцы бузу затеяли; диакон попытался их утихомирить и, видно, кому-то по уху невзначай захватил. «Политическую» статью не раздули, но отправили в лагерь как за мелкое хулиганство.

Пока диакон валил лес, неведомо куда пода-

лись из города диаконица с малолетним сыном. Возвратившийся муж и отец искать их не намерился, любопытным про свою супружницу отвечал — Бог ей судья. И к диаконскому служению он то ли охладел, то ли архиерей на то благословения не дал, только приходил теперь диакон петь на клиросе. Облаченным в подрясник никто его больше не видел, прежних гривы волос и бородищи он не отрастил — жесткий ёжик на голове и три волосинки на подбородке.

Зарабатывал на жизнь диакон грузчиком в речном порту, ходил в затрапезной одежке. Кое-кто из знакомых прихожан грешным делом стал подумывать, что не в «обновленцы» ли он подался, а то и вовсе в расстриги.

— Меня еще и в оперу петь приглашают! — подзуживал он излишне любопытных.

Настоятеля храма, выпускника столичной академии, отец Николай уважительно побаивался, пусть тот был и много моложе по годам. И что бы ни говорил, старик, напрягая слух, кивал согласно.

— Мало что погост снесут, но и храм, последний в городе, закроят! А то и на кирпичи разберут, — возмущался отец Василий. — Нарочно же все это задумано... Надо с нашим письмом в Москву во ВЦИК к самому Калинину обратиться!

— О Господи! — испуганно перекрестился отец Николай. — В самое-то пекло! Да и как еще архиерей на это посмотрит? Да и поедет кто, найдется ли отчаянная головушка?..

Нового архиерея ждали на днях: не мог он минуть единственный городской храм.

От торжественной встречи он заранее почему-то отказался, торопливо прошел в алтарь, благословил служителей и, кутаясь в теплую рясу, болезненно нахохлившись, молча просидел в креслице возле престола всю службу. Поглядывал на священников поверх стекольшек очков в золоченой оправе настороженно, точно ожидая чего-то. Был архиерей в годах, с редкой щетинкой бородки на холеном лице; слух шел — вышел он из вдовых протоиереев, так что церемониться особо с собратьями не привык. Да и знал, наверное, обо всем: успели доложить.

Едва по окончании службы отец Василий подошел к архиерею со стопкой подписных листов

и начал зачитывать письмо, но тот протестующе выставил перед собой ладони и негромко сказал:

— Это самоубийство! Разве вы не понимаете?..

Он поднялся с кресла и, оглядываясь, вышел из алтаря боковой диаконской дверью, как и зашел. Нахмуренный отец Василий не подошел к нему под благословение. Глядя на настоятеля, и диакон не стронулся с места, только отец Николай двинулся было вслед за владыкой, но затоптался на месте, тяжело вздыхая: «Не к добру...»

## 6

**К**лава оказалась женщиной крупной и рослой, чуть ли не на полголовы выше Артура. Короткая стрижка, прелести фигуры плотно облегает ткань спортивного костюма. Из переполненного автобуса Клава неловко и грузно вывалилась прямо на руки Артуру, едва не сшибив его с ног. На фото на сайте знакомств она выглядела куда стройнее и моложе.

Опять ведь Мишка-баламут присоветовал!

«Что тебе холостяковать? Зайди на сайт знакомств, ты же в интернете, бывает, торчишь! Я бы попробовал сам, да компьютера нет, не по карману занять, на другое денежки уходят».

У Артура был подержанный ноутбук для подготовки к урокам в школе. И вот однажды он решил использовать технику не по назначению...

— Куда пойдем, мужчинка? — низким грудным голосом спросила новая знакомая.

Артур не нашелся, что и ответить, ощущая себя перед ней вроде замухрышки, заперетапывался нерешительно с ноги на ногу, невольно кося взглядом на колышущие под тонкой тканью майки внушительных размеров полукружия грудей.

— Тогда — на бережок?! — усмехнувшись, предложила Клава. — Веди, Сусанин!

Артур, семена мелкими шажками сбоку ее и пытаясь приноровиться под размашистый, неженский шаг новой знакомой, мысленно оправдывался перед собой. Можно было пригласить даму в ресторан — вон он, сияет приветливо и зазывающе вывеской на другой стороне улицы, но ведь в спортивных костюмах туда не пускают. Да и, если откровенно, в кармане у Артура не «шуршало», а после уплаты очередных алиментов чуть-чуть слышно позвякивало.

Новые знакомые вскоре сошли с асфальта и побрели по едва подсушенной весенним солнцем дорожке к Полю дураков — широкой, заросшей кустарником и мелколесьем ложине с протекающим в низине ручьем и стиснутой со всех сторон облезлыми коробками пятиэтажек. В горбачевские времена здесь функционировала единственная на всю округу «казенка». Ватаги жаждущих и страждущих вели тут наступательные и оборонительные бои, и не одна головушка в пьяном угаре сгинула. Потом «Горби» смотался в Мюнхен, Союз развалился, «сухой» закон в других злачных точках города отменился сам собой. Зброшенную развалюху «казенки» растащили на дрова для костров гуляки. Название поля только и осталось.

На краю поля еще лепился неказистый «коммок», в котором, выжидаяще взглянув на Артура и пожав плечами, Клава сама взяла пару «огнетушителей» крепкого пива.

Расположившись на лужке под кустами и основательно засосав пивка, Клава много не церемонилась: стоило Артуру нечаянно прикоснуться к ней, как она решительно притянула его к себе и смачно поцеловала в губы. Пришлось слегка ошалевшему Артуру приглашать даму к себе домой, хотя и поначалу не планировался такой оборот. Клава ловко уцепила его под руку, и по улицам города он брел, потупив взор: стеснялся столкнуться со знакомыми, но никто не попал навстречу.

Запустив Клаву в дом, Артур извиняюще забормотал насчет беспорядка, наверняка временного, но гостью атмосфера холостяцкого быта нисколько не смутила. Клава осторожно притронулась к спинке солдатской кровати, потрясла ее:

— Не развалится?

Села и заподпрыгивала увесистым задом на жалобно заскрипевшей сетке:

— Выдержит!

Кровать и вправду была прочной старопрежней выделки, не развалилась...

— А ты по профессии кто? — спросила Клава, ероша ладонью ежик стриженных волос на голове.

— Педагог, — ответил Артур.

— Вот те раз! И я тоже!

## 7

Клава работала воспитателем в детском доме-интернате, где воспитанниками была ребятня из неблагополучных семей. Озлобленная природой и умишком из-за алкоголиков-родителей ушибленная, нравом — палец в рот не клади. Воспитатели, бедные, сбегали при первом удобном случае, но Клава с ее каменным непрошибаемым спокойствием удержалась там надолго. Да и особо не разбегаешься на ее месте: двое спиногрызиков на шее. Потянулась за мужем в чопорную холодную Эстонию, но не прижилась там, вернулась в родной город с одними чадами. Пока обихаживала спиногрызиков, стирала пеленки, муженек с расфуфыренными землячками путался, мало ему было русской бабы. Увлелась в пединституте залетным белобрысенским однокурсником-прибалтом, занятно растягивающим слоги в своей речи с акцентом. Эх, дура и была!..

Это потом, в интернате, прилепился к Клаве парнишонка из старших воспитанников. Подросшие мальчуганы относились к юному отчиму как к старшему брату, да и для Клавы он был больше сыном, чем мужем.

В детстве парень получил страшное потрясение: прямо на его глазах чужой дядька-сожитель зарубил топором мать. Парень и до спелых лет — угрюмый, замкнутый в себе, но как-то сумел привязаться к Клаве...

Клава, считай, одна тащила на своем горбу семейный груз, и из домашних ей никто не прекословил, зная, что бесполезно. Но и никто и не думал, что Клаве порою надоело быть командиром в юбке. Ей и любви настоящей мужской хотелось — годики-то неумолимо прибавлялись. Иначе с чего бы она по сайтам знакомств в интернете шариться стала, когда появилась эта зараза.

Она знакомилась с мужичками себе под годы, было интереснее, чем с молодяжкой. Жаль, что пожившие на свете мужички начинали скоро выдыхаться и норовили избежать грубоватых Клавиных ласк. Но она — от одного к другому — для того, чтобы хотя бы только пивка попить да пообщаться, поразговаривать.

— На днях познакомилась с директором фирмы, пригласил меня поехать искупаться на озеро. Холодновато еще, конечно. Но дого-

ворились завтра встретиться. Купальник вот только лопнул, а на новый денег пока нет. Авось, не понадобится.

Артур угрюмо молчал, все-таки ее слова неприятно царапнули его самолюбие.

## 8

Диакона Александра Суворова арестовали прямо на перроне вологодского вокзала. Едва сошел он с московского поезда, двое в одинаковых кепках и пальто подхватили его под руки: пройдемте, гражданин! Что было толку дергаться: диакон понял, кто это, покорно побрел. И даже догадывался, куда ведут: вон, они завиднелись темные купола без крестов собора Духова монастыря. Обезображенное нутро разгорожено на клетушки-кабинеты, где стаей ворон заседала энкавэдэшная рать, а в подвалах томились арестанты.

На входе, в камерке, задержанного сноровисто и шустро прошмонали, но не в полуподвальную камеру сопроводили, а втокнули в один из кабинетов. Сидящий за столом широкоскулый русоволосый парень вроде б как приветливо ему улыбнулся, и у диакона тоже в ответ в настороженной улыбке стали сами собой растягиваться губы. Диакон сел на привинченный к полу стул напротив следователя и от внезапного хлопка по плечу вздрогнул:

— Чует кошка, чье мясо слопала!

Яков Фраеров, старый знакомый! Невидного ростика, с черной кучерявой шевелюрой и бородкой клинышком, облаченный в форму со «шпалами» в петлицах, в скрипучих сапогах-хромачах.

А тогда, с год назад, Яков вызвал к себе повесткой вернувшегося из лагеря Александра, будто бы для постановки на какой-то учет. Одетый в «гражданку», выглядел куда попроще и убеждал диакона так вкрадчиво-доверительно, что тот, бедный, не мог и словца втиснуть в его плавную, дремотно обволакивающую речь.

— За ваш проступок — драку у храма — вы вроде бы отбыли наказание как хулиган. Но мы-то все помним и не забыли, что вам светила политическая статья, 58-а, — ровно ручеек, мерно журчал Фраеров, вперив в диакона немигающий взгляд печальных карих глаз. — Вы побили не ка-



кого-то там шаромыжника, а ударили комсомольца при выполнении задания партии! Пожалели вас тогда... Но мы можем и теперь копнуть поглубже по сути... Это же было контрреволюционное выступление! Вдруг у вас и сейчас есть сообщники в среде священнослужителей и создана контрреволюционная организация?! Если эту веревочку раскрутить... Это уже на «вышку» потянет. Понимаете?!

Диакон в ответ недоуменно хмыкнул, пожал плечами:

— Батюшки наши служат Господу, какая тут контрреволюция?

— А мы бы хотели, чтобы вы за ними... приглядывали, что ли? Слушали, что они говорят, например.

— Доносить? Да никогда! — возмущенный диакон даже привстал со стула.

— Вы не поняли! — опять зажурчал миролюбиво Фраеров. — В определенные дни вы будете встречаться с человеком, беседовать. Он найдет — на какие темы. Всё! Это никому не навредит, уверяю вас! И мы со своей стороны вас не тронем!

«Только бы выйти отсюда! Фигушки бы вы что у меня выпытали!» — диакон обвел тоскливым взглядом серые стены кабинета.

— Подпишите протокол! — расплываясь в добродушной улыбке, Фраеров передвинул по столу к диакону лист бумаги. — Можете пока быть свободны. И, надеюсь, встретимся!

Диакон торопливо, не читая, черкнул в конце писанины следователя закорючку и, сопровождаемый его насмешливым взглядом, шагнул в распахнутую конвоиром дверь.

От здания НКВД диакон припустил прочь большущими шагами, едва не натыкаясь на встречных прохожих.

«Как черт от ладана!» — неудачно сравнил себя и в сердцах сплюнул. Он хотел даже обернуться и погрозить затаившемуся в монастырском парке зданию кулаком.

Скрытничать диакон не стал, рассказал обо всем отцу Василию на исповеди.

— А ты скажи им, если опять к себе потянут, что обязан просить, как и на все, благословение у настоятеля! — успокоил, улыбаясь, диакона отец Василий. — Благословит, коли...

— Батюшка, не могу я пока сослужить вам у

престола Божия! Грешным себя чувствую — дрогнул я тогда у следователя. Попеть бы мне пока на клиросе, благословите!

— Письмо с подписями прихожан в Москву во ВЦИК, к Калинин, повезешь! — огорошил диакона отец Василий. — И так, чтобы местные чекисты не перехватили!..

Теперь, после ареста на вокзале, «местные» разговаривали с диаконом по-другому.

— Как ты посмел, тварь этакая, мимо нас, втихомолку, в Москву прошмыгнуть?! Обязан был нам доложить, кто и за чем тебя туда послал! — Фраеров не любезничал, как в прошлый раз, уставился в глаза диакону немигающим ледяным взглядом. — Ты — участник контрреволюционной религиозно-монархической организации. Как мы предполагали, так это и подтвердилось. Окопались вы, вражины, в своих церквах... Назови имена других участников группы!

Александр, хоть и понимал, что ему из этих стен, возможно, не выбраться — он успел еще перекреститься перед входом в опоганенный энкавдэшниками монастырь, но собрался с духом и нашел силы выдать на лице глуповатую непонимающую ухмылку:

— Не знаю ничего... Слыхом не слышал!

— Под дурака косишь?! — не вскрикнул — взвизгнул Фраеров.

Диакон как-то и не обратил внимания на то, что в углу кабинета разваливался на стуле верзила, одетый, как и Яков, во френч. Он со спины бесшумно подошел к диакону и, резко взмахнув руками, ударил того по ушам. С поплывшим звоном в голове Суворов скоро оклемался и мощной своей ручищей достал обидчика.

На вопль Фраерова прибежали из коридора еще трое. Свалили диакона на пол и принялись охаживать пинками.

— Все равно назовешь всех! — удовлетворенно проскрипел Яков.

— Помоги, Господи! — корчась от боли, простонал диакон.

## 9

**П**росфорница к полудню вернулась с рынка и заохала, чуть ли не запричитала:

— Бежать тебе надо, батюшка, скрываться!

Люди говорят, что вчера ночью отца Василия Аполлосова арестовали, увезли в воронке. И до тебя ведь доберутся нехристи, раз взялись за вашего брата. Пока не ведают, видно, что ты тут живешь, а не по старому адресу. Так же узнается! Поторопись!..

Старушка сразу стала прикидывать, где бы отцу Николаю от «антихристов» укрыться, но вскоре раскисла беспомощно квашней, развела руками — у самой ни родни, ни надежных знакомых.

— Ладно, не переживай! — успокоил хозяйку священник. — Куда мне деваться? Будь что будет, как рассудит Господь!..

Отец Николай в последние дни не отходил от домика далеко — едва держали разболевшиеся ноги. Он сидел на ступеньке крылечка, провожая подслеповатым взглядом прохожих. Сыпала уже первой листвой подступающая осень, но ощущалось еще летнее тепло, приветливо поднималось солнце в белоснежной дымке редких облачков на прозрачно-голубом небе. И сегодня было тихо, умиротворенно, и вовсе не верилось, что где-то в тюрьме страдает отец Василий Аполлосов.

Старик, опираясь на клюку, выбрал на улочку, на перекресток. Народу в будний день было немного. Завидев священника, молодежь криво ухмылялась, люди постарше виновато отводили в сторону глаза и старались обойти батюшку стороной, лишь старушонки смело подходили под благословение и справлялись о здоровье.

И здесь, на перекрестке, с отцом Николаем едва не столкнулся нос к носу родной сын. Он куда-то спешил со своим семейством: две девчушки, ухватив папу за руки, едва поспевали за ним. Увидев отца, сын заозирался, что-то испуганно дрогнуло в его лице. Он едва заметно кивнул и ускорил шаги. «Деда, деда!» — оглядываясь, лепетала младшая внучка.

Отец Николай проводил горестным взглядом сутуловатую спину сына. Хотел его видеть священником, продолжателем родовой череды иереев Божиих, но сын не захотел идти в семинарию, в университете учиться задумал, одним из первых учеников окончив школу. Но из-за происхождения попovichа туда не взяли, только в местное педучилище удалось поступить.

Отец Николай не стал перечить или запрещать отпрыску. Единственный сын был, долгождан-

ный. Не хочет пока быть священником, может, потом образумится. В алтаре с малолетства прислуживал, вместе с отцом Богу молился.

Можно было, как настоятель соседнего храма отец Георгий своей волей всех четырех сынов в попы поверстать, замолвив перед архиереем словечко. Но теперь их всех тоже власть в тюрьму упрячет, раз такое гонение на духовенство началось.

«А моего-то, простого школьного учителя, может, страданий чаша сия минует, — думал отец Николай. — Отрекся от родного отца, своего священнического рода. Публично, через газету. Душой понимаю: выжить хочет, дочек своих сохранить и вырастить. Да и заставили его, наверное! Но неужели все-таки добровольно решил, сам?!»

Когда кто-то принес газету с сыновним «отречением», старик, нацепив на переносицу пенсне, взгляделся в печатные строчки и обмер сердцем. За что?! Да еще и за дочерей-несмышленицей заодно. И ... простил сына отец Николай — значит, так надо было. Но все равно осадочек обиды на душе остался, осел неприятно. Хотя и умом все понятно, но...

Уж слишком быстро сын припустил от перекрестка прочь; отец Николай ждал и гадал: обернется — не обернется? Не оглянулся...

— Прощай, сынок, и прости! Может, больше и не увидимся!..

За стариком пришли той же ночью. Он, как предчувствовал, даже не прилег, сидел под иконами в красном углу горницы в своем заношенном, заплатанном подряснике...

В полуподвальной камере тюремного замка, сырой и холодной, хрупкое и без того здоровьишко отца Николая сдало. Он чувствовал, что с грубо сколоченных голых нар скоро будет не в силах подняться. Но не давали окончательно пасть духом томившиеся здесь же, в темнице, отец Василий Аполлосов и сельские батюшки из района. Всех отец Николай знал.

Под утро двое конвоиров приволокли, подхватив под мышки, избитого диакона Суворова.

— Вот вас, длинногривые, что ожидает! — уронив бедолагу на пол, хмуро бросил один.

— Это еще цветочки! — хохотнув, добавил другой.

Дверь захлопнулась, проскрежетал запор. Уз-

ники подняли Суворова и положили на нары рядом с отцом Николаем. Старик, чуть не плача, шептал молитвы, обтирая тряпицей его раны и ссадины.

Скоро дошел черед и до отца Николая. Сам ходить он не мог, распухли ноги, и конвоиры волоком утащили его на допрос.

Молодой следователь, хищно ухмыляясь, косил черным глазом:

— Ты, поп, все наше семейство крестил! И родители мои меня во младенчестве притащили к тебе в церкву в купель окунать. Они люди темные были, несознательные. А я — коммунист, большевик, в ваш религиозный дурман не верю!.. Рассказывай, старик, что ли, как вы гражданина Суворова отправили в Москву, якобы какую-то цидульку отвезти скрытно. А на самом деле для связи с руководством контрреволюционной террористической организации. Получить для вашей местной ячейки указания и инструкции для подрывной работы в массах и подготовке терактов. И гражданин Василий Аполлосов, по всему, ваш главарь...

Следователь еще что-то монотонно, точно заведенный, долдонил и долдонил, пока резко не оборвал свой монолог, встал из-за стола и, склоняясь к самому уху отца Николая, предложил:

— От веры я тебя отречься не заставляю. Только вот бумагу подпиши, что обо всем знал, подтверждаешь, хотел сообщить куда надо, но не успел. Снисхождение тебе будет, отпустим домой как немощного, да и мои родители этому порадуются. Ну?! Нет?!

Следователь глядел пристально на сникшего, едва дышавшего на ладан священника, и, может, что-то дрогнуло в его душе, хотя вряд ли. Черной, видать уж, слишком она была, поэтому и продолжил резко:

— Посиди пока еще в камере, подумай! «Тройка» на днях вашу судьбу решать будет, так что поторопись! Приговор суров: высшая мера. А я тебе помочь хочу, и, глядишь, поживешь еще, покоптишь небушко!..

Отец Николай, после того как его притащили в темницу конвоиры, больше с нар уже не вставал. Никому ничего не отвечал, шептал только, как молитву:

— Господи! Уж если призовешь всех нас к себе, меня, одного, не оставь! Со всеми

вместе возьми, чтоб за Иуду не посчитали!

Отец Василий приложил ухо к его груди:

— Отходит ко Господу батюшка! Надо читать отходную!

— Да и нам-то долго ли осталось? — едва шевелил разбитыми запекшимися губами диакон Александр. — Жаль, что над нами некому ее будет прочесть...

## 10

Мишка выбор Артура одобрил, хотя поначалу, увидев рослую фигуру Клады, попятился пугливо. Но, когда сообразил, почему эта незнакомая дама обретается тут, и, окинув беглым взглядом затянутые в джинсу ее выпуклые стати, взвизгнул восторженно и заскакал по ступенькам крыльца, норовя потрясти ее за руку, а то и в щеку подпрыгнуть да чмокнуть.

Естественно, Мишка был навеселе, да еще и пол-литра с собой прихватил. Залудив стаканчик-другой, осмелел, куда и стеснительность в присутствии дамы подевалась. Говорил-бормотал, как обычно, о каких-то пустяках, и вдруг вполне здраво заявил:

— Вы тут милуетесь, а знаете, что могилу расстрелянных попов на Поповых горах нашли?! И прадед там наш! Указал кто-то из старожилков, перестал бояться. И расстрельный список будто бы в архиве нашли. Поклонный крест добрые люди поставили. А мы, родственнички-потомки, спокойно сидим себе да ни о чем не ведаем! Вот за этим самым! — и Мишка выразительно щелкнул ногтем по опорожненной посудине.

Договорились идти на следующее утро: Мишка похвалился, что разузнал толком, как к тому месту пройти.

Вот только он, бедолага, проспал. Время близилось уже к полудню, когда, миновав городскую окраину, мимо старинного погоста с возвышающимся посреди остовам полуразрушенного храма, вышли к Поповым горам.

Горами эти холмы местные жители именовали с большим натягом. Приземистые, с плоскими широкими наверхиями холмы чередой тянулись от города к лесу; у подножия их в низине летом вязла в тине мелкая речушка. Пологие склоны горок возле городской окраины были распаяны под картофельные поля, и Артур с Клавой

вслед за Мишкой долго еще брели по петляющей между «плантациями» дороге.

Но вот кончились и поля, и дорога оборвалась в густых зарослях ивняка и олешника. Потянуло застоялым терпким духом близкого болота. В сумраке чашобы болтливый проводник заплутал, не скоро нашел протоптанную тропу. По ней пришлось идти, отодвигая руками норотившие хлестнуть по лицу ветки подлеска. К тому же солнце в безобидно-безоблачно чистом небе неожиданно заволокло невесть откуда наплывшая темно-лиловая туча. Потемнело, почти как поздним вечером. Вдобавок тропинка, вывернув из чапарыжника, уперлась в глухую стену ельника. Там было совсем сумрачно.

Мишка вскоре вдруг воскликнул обрадованно:

— Всё! Пришли!

Открылась небольшая рощица — поляна, и посередине ее возвышался деревянный, крашеный черной краской, крест. На сложенных в кучу у его подножия камнях досыхали букеты увядших цветов; венок с пожелтевшей еловой хвоей упал, сорванный ветром, на землю.

— Вот здесь их всех и порешили... — перекрестился Мишка.

Клава поправила букеты, поставила на место венки.

— Цветов нам надо было бы принести, не догадались, — вздохнула укоризненно.

Артур стоял, не проронив ни слова... Увиделось ему до жути ясно: на месте креста — высокие завалы карминно-красного оттенка песка на стороне огромной ямы, зловеще чернеющей среди пожухлой, сбившейся в валки осенней травы.

Туда, к яме, служивые в фуражках с красными звездами влачат двоих, привязанных друг к другу, в грязном длинном тряпье людей с изможденными, со следами побоев лицами. Подтащив несчастных к самому обрыву, палачи торпливо отскакивают назад, и тотчас раздаются хлопки выстрелов.

Тут же волокут другую пару связанных, стеноющих и бормочущих молитвы, снятых с оставленной невдалеке телеги, и опять шелкают сухо револьверы.

Из телеги раздаются стоны, даже рыдания ждущих своей участи приговоренных узников.

Командир отряда, черноусый курчавый кре-

пыш, с усмешечкой вопрошает у несчастных:

— Ну что, длинногривые, есть желающие от вашего боженьки отречься? Авось да помилуем!

Ответа он не дождался.

Поташили к яме и последних, больше прочих истерзанных и избитых.

— Отец диакон, прощай! Прости, если чем обидел! — едва слышно разбитыми спекшимися губами вымолвил один.

— Бог простит! Встретимся скоро у Господа, отец настоятель! — успел ему ответить другой.

Из вытащенной из телеги канистры конвоиры по очереди плескали в жестяную кружку спирт и, хлобыстнув, занюхивали рукавом гимнастерки.

— Помянули?! — все так же жестко, усмешливо спросил слегка подзахмелевший командир. — Теперь за другую работенку беритесь!

Молча, икая от выпивки, палачи принялись зарывать свои жуткие следы. Лопаты часто замелькали в их руках, засыпая яму. Сверху все аккуратно прикрыли нарезанными заранее пластинами дерна. Потом дружно завалились в телеги и диким гиком, погоняя лошадей, умчались, страшась оглянуться.

Может, кто-то из них дожил до наших дней и, немощный, на смертном одре поведал о том тайном и страшном месте...

Артур все еще недвижно в раздумье стоял перед крестом, упавших первых капель дождя даже не ощутил.

Как с таким грузом на душе жили их, Артура и Мишки, матери — дети отрекшихся от отца-священника родителей, всю жизнь боявшиеся, что кто-то узнает об этом родстве и тогда отлаженная спокойная повседневность жизни нарушится, нагрянут бури и невзгоды. Все дальше со временем совесть, наверное, пуше и пуше грызла сестер, но сыновьям своим они словечком об этом не обмолвились. Так и вошли Артур и Мишка в зрелые лета в полном неведении, из какого они рода да откуда.

Узналось теперь, что здесь, под спудом земли, в братской могиле, покоятся и косточки прадеда, без вины убиенного. Да нет, вина-то его для палачей была одна — вера в Бога...

Из обложившей небо, низко нависшей тучи просыпался дождь, мелкий и нудный, по-осен-

нему затяжной. Всё усиливаясь, он кропил и кропил согбенные жалкие человеческие фигурки, спешащие друг за другом по дороге к Городку.

## 11

**П**одвыпивший Мишка, покачиваясь, заплетаясь ногами, решил сократить путь до дому через Пушкинский парк.

Был час поздний, темень, но Мишку это не смутило. В садовой аллее впотьмах можно запросто зацепиться о вылезший на тропу древесный корень, неслабо шмякнуться оземь, но пьяному море по колено. Тем паче за пазухой приятно побулькивала поллитровка палёнки, выморщенная на последние копейки и наполовину в долг у подпольной местной торговки.

Прежде чем свернуть в парк, Мишка, раскачиваясь на раскоряченных ногах, долго пялился на больничные окна на другой стороне улицы. Нигде не мелькало ни огонька, постояльцы видели не первые сны, но Артур наверняка прогуливался где-нибудь возле больницы в сумерках. Положили его на днях опять на обследование. И Клава, как всегда, была рядом с Артуром, придя попроведать. Мишке показалось даже, что знакомые фигуры появились у больничного забора.

«Да ладно, чего им мешать!» — Мишка собирався окликнуть их, но раздумал: больно хорошо грела бочок под полрой бутылочка.

Он свернул в сумрак парка и тут же столкнулся с компанией парней. Подростки, а на голову выше. Мишка мотнулся в сторону, норовя их обойти, да не тут-то было. Долговязый парень заступил дорогу и, не церемонясь, заехал ему в глаз. После такого тычка слабосильный Мишка опрокинулся бы назад, как ши бы пролил, но, ошеломленному, ему не дали упасть другие малолетки — пожиже. Ухватили под локти и давай шарить по карманам. Попридя в себя, Мишка даже ухмыльнулся: зря, голубчики, стараетесь, но, когда нащупали у него за пазухой бутылку, понял — дело худо! Вывернулся из рук грабителей и хлопнулся ничком на тропу, закрывая грудью посудину. Мишку, может быть, с досады пнули б еще пару раз и отстали — что с опойка взять, но кто-то сообразил, что неспроста жметесь к земле мужичонка.

— Да у него пузырь! — крикнул догадливый. — Отдай!

Седую башку Мишки и его бока волтузили пинками, кто-то упитанный даже попрыгал на бедняге, сокрушая ему ребра. Когда скрюченно-го от боли Мишку перевернули, под очередным пинком лопнула внутри его тела застарелая язва-болячка. Он согнулся в дугу и из последних сил надрывно, по-волчьи взвыл. Но посудину так и не смогли выдрать из его сцепленных в смертной судороге рук. Или не успели.

— Атас, пацаны! Артур! — крикнул кто-то как в школьном прокуренном туалете, и грабители бросились врассыпную.

Мишка еще был жив, когда подбежавший Артур склонился над ним. Прошептал Мишка разбитыми губами еле внятно:

— Прости, брат! Может, и Бог простит мою жизнь непутевую...

Дернулся и затих навсегда.

## 12

**В** храме литургия уже завершилась. Богомольцы, в основном бабушки, закутанные в черные платки, собрались у поминального кануна, заставленного зажженными свечами.

Клава и Артур с зажатыми в ладонях свечками пытались к нему потихонечку протиснуться. Собрались помянуть бедолагу Мишку: девятый день. Артур о таких тонкостях не ведал; Клава же поутру, повязав голову черной косынкой, потянула его в храм: «Обязательно свечу за помин души поставить. Брат же твой, поминка просит!»

Пока Клава за лавкой покупала свечи, подавала записки, Артур топтался в притворе храма, больше всего опасаясь встретить кого-нибудь из знакомых. «Из школы-то точно здесь никого нет!» — успокаивал он сам себя.

Наконец удалось протиснуться к кануну. Вслед за Клавой Артур тоже перекрестился — неумело и впопыхах, неуклюже толкнув кого-то локтем.

Вышел из алтаря с дымящим кадилом в руке священник, началась панихида.

— Со святыми упокой, Господи, раба Твоего! — шептала Клава.

Вторил ей и Артур.

Когда все завершилось и люди, крестясь, стали выходить из храма, Артура кто-то негромко окликнул.

Учитель истории, первогодок!

— Рад вас видеть здесь, Артур Александрович! — смушаясь, сняв очки и без толку крутя их в пальцах, уставился на Артура беспомощными близорукими глазами молодой коллега. — Я, бывает, захожу в храм, но за год ни одного педагога из нашей школы здесь не встретил. Помянуть пришли новомучеников местнотчимых?

И тут же сам ответил на недоуменный взгляд Артура:

— Священников, на Поповых горах расстрелянных. Сегодня их память Церковь отмечает.

Перед глазами Артура вдруг предстал высокий крест над камнем на полянке в глухом еловом урочище; на камне том, заваленном увядшими цветами и венками, табличка с именами мучеников. Потом представилось — низко нависшие тучи, непроглядно затянувшие небо, заполошный ливень и бегущие по раскисшей полевой дороге три ссутуленные и жалкие людские фигурки...

А юный учитель, водрузив на веснушчатый нос очки и казавшийся теперь более солидным, рассказывал дальше:

— Они в этом храме служили... В тридцать седьмом году здесь, возле стены храма, власти задумали железнодорожную ветку проложить. Понятно, что и храм бы закрыли, а потом и здание бы его разрушили. А отцы честные в защиту письмо сочинили и с подписями прихожан в Москву в приемную самого Калинина так сумели доставить, что местные энкавэдэшники прозевали перехватить. Зато в отместку они обвинили священников в контрреволюционном террористическом заговоре и подвели под расстрел. Но — самое интересное и удивительное!.. То ли письмо в руки Калинину попало, и распорядился он храм не трогать, а скорее всего сам Господь помог по молитвам — отменили прокладку ветки, в другое место перепланировали. А уж памятники и кресты с погоста бульдозером начали сносить... И вот стоит храм во славу Господню, молятся люди...

Уже на обратной дороге Клава, словно спохватившись, как-то странно поглядела на Артура и спросила:

— Мишка-то хоть крещеный был?

— А хочешь спросить: крещен ли я? Крещеный! — ответил Артур. — Крещены мы были оба во младенчестве, втайне от отцов — узнал Мишка от матери. И меня по православному Николаем нарекли... Помнишь тот поклон-

ный крест на Поповых горах? Прощения нам надо просить у тех, кто под ним безвинно лежит! За наше беспамятство.

### 13

Клава бежала к Артуру со всех ног. Горячи и грустны были эти встречи — не молоденькие уже!

Дома Клаву провожал презрительным и сожалеющим взглядом приемный сын. Если мамка, забежав после работы, наскоро прихорашивается перед зеркалом и, пряча глаза, вскоре исчезает, значит, опять завелся у нее кто-то, ищет она свое счастье.

Парень потчевал супишком малолеток — названных братьев, загонял их делать уроки. Все знали: мать вернется под утро, виновато расцелует всех, полусонных. Что, станешь ей дерзить?! Детдомовец, один на свете, как перст... Куда пойдешь, коли на дверь укажет? Она, когда что не по ней, любого скоро на место воткнет хоть в приюте, хоть и дома.

Да и очередное увлечение у нее быстро пройдет: то ли свежее испеченный ловелас выдохнется, то ли сама заскучает с ним — с тем, у которого «одно» на уме. И опять будет ходить замкнутая, задумчивая, с потухшими глазами...

У них с Артуром первоначальное горячее времечко схлынуло. Теперь, часто молча, понимая друг друга без слов, обнявшись, сидели они на старой лавочке в кустах ивняка на берегу, прислушивались к тихому журчанию воды на речных перекатах. Прилепилась душа к душе, сами не заметили и как — бывает же такое!

Клава, склонив голову, прикладывала ухо к груди Артура, чутко вслушиваясь, потом виновато заглядывала ему в глаза. Все в округе знали о его болезни, земля слухом полнится.

Артур грустно улыбался, подбадривая:

— Не расстраивайся, я буду жить вечно! Врач сказал, что еще не все потеряно. Операция предстоит, надежда есть. Поживем еще.

— И я с тобой! — отвечала Клава. — Сколько бы ни осталось...

И, казалось, не умудренные и побитые жизнью люди сидели в обнимку на лавочке, а юные влюбленные, у которых все еще было впереди...

# ПОЖИВЕМ – УВИДИМ

## рассказ

### 1

Бывшее имение помещиков Введенских — раньше коммуна Поповка — своими строениями и парком занимала хребтину холма. Через речку в низине грудилась избами одноименная деревня. Поповка после голодных, разбредшихся кто куда коммунаров выглядела жутким жалким пепелищем. Обугленная пожаром каменная коробка господского дома приглянулась председателю колхоза: задумали строить коровник и конюшню на кирпичных столбах. Выламывая дармовой кирпич, коробку с утра до вечера долбили ломками, но проку было мало, старая кладка поддавалась туго.

Председатель раздобыл где-то динамита. Рванули, раскололи стены на глыбы, и — опять та же морока! Отступились. Теперь и громоздились унылые руины среди множества широких пней, оставшихся от парка, благодаря которому прежние коммунары хоть и голодом, но в тепле скоротали зиму.

От всех потрясений чудом уцелел флигель. Из него в конце лета выгребли коммунарский мусор и устроили школу. Сюда и приехал учительствовать после окончания педучилища Санко Староверов. Поселили его прямо при школе, в мезонинчике. На работу ходить — по лесенке спуститься.

Класс был один, два десятка учеников — от сопляков до парней — самому учителю чуть ли не одноклассов. С сопляками справляться проще. Стоит на них, расшалившихся, прикрикнуть — и они притихнут, опять займутся старательно зубрежкой азбуки или счетом. Со старшими ребятами куда труднее. Хоть и ведут они себя степенно, не шумят, но то один из них пропадет на неделю, а потом сидит на уроке как ни в чем не бывало, то другой, прикорнув, задаст такого храпака, что стекла в рамках задрезбжат.

Староверов вежливоенько потреплет засоню по плечу, а тот вдруг вскочит и, вытаращив красные

глаза, заорет как оглашенный: «А?! Чё?!» Потом оправдывается, уставившись в разошедшиеся доски пола: «Мы с тяткой... по грибы ходили... да в лесу заплутали. Заночевали, насилу выбрали». В другой раз — корову по поскотине искали...

И, конечно, учение хромает на обе ноги и у спящих, и у гулящих. Только один парень, Борька Ломунов, к ученью серьезен, хоть и туго оно ему дается. Староверова года на два помоложе, зато в кости широк, если сгребет в охапку — не вырвешься. Не было бы учителю с таким учеником мучения, да тут, на беду, приключился казус, и еще какой...

Молодого учителя поначалу на полном довольствии держал колхоз. Однако старого председателя вскоре арестовали и осудили как врага народа, а новый решил по-своему: «Учитель и так зарплату получает, какого ему еще хрена надо?»

Почти все деньги Староверов отдавал матери, изредка прибегая за двадцать с лишним верст на краткие побывки в Городок. У матери жил ее старший брат Иван, холостяк и бобыль, раскулаченный владелец постоянного двора. Его теперь не брали на работу даже дворником, и он, неприкаянный, мрачной тенью бродил по дому. Приехала из дальнего гарнизона сестра Санка, вышедшая замуж за военного, дочку привезла. Полный дом едоков...

Как-то, обследуя ради интереса чердак флигеля, заваленный разным хламом, Староверов наткнулся на вполне исправную гармонию. Игрок он был не ахти какой, брал уроки у отца, в молодости заядлого гармониста. Санко успел освоить «Русского». Растянул он меха... И чем пуще сосало от голода в желудке, тем шибче наяривал он на гармонию.

Однажды вечером к нему заглянули четверо колхозных мужиков. Разговаривал одноглазый красноносый верзила Аркаха Ломунов. По его выпрненным речам — герой Гражданской войны, по отзывам односельчан — потерявший глаз, будучи застигнутым врасплох в чужой постели.

— Больно добро играешь, Сано Санович! — похвалил он, хитро поблескивая глазом. — Ты б нас, бедных, выручил! Страсть как охота сплясать! Мы на энто все мастаки, да нету средь нас гармониста. Уважь, Сано Санович, сыграни на вечеринке! И не задаром ведь...

Аркаха мигнул мужикам и вытащил из-за пазухи бутылку с самогоном.

— Что вы, я не пью! — замахал руками Староверов, но, взглянув на уныло вытянувшиеся лица, согласился. — Ладно, поиграю. И мне бы... молока лучше!

Подкупило Санка и то, что именовали его уважительно по имени-отчеству не ученики в школе, а солидные мужики — папаши...

Вот только место для вечеринки они выбрали странное: кладбище. Располагалось оно далеко от деревни. На краю его высился остов спаленной молнией в конце двадцатых годов часовни. Тушили ее усердно, да сбежались миряне поздно — нутро выгорело полностью. Зато окрестные могилы вытоптали. Взялись было отстроить часовню заново, да так и не приступили — власть иную директиву спустила.

Мужики деловито разложили выпивку и закуску на плите из мрамора, расположились возле полулежа сами. Местечко здесь, видать, давно облюбовали.

— Вот, Сано Санович, молочко тебе и хлебец! — Аркаха сунул в руки Староверову кринку с молоком и ломоть хлеба. — Может, все-таки чарочку?!

Санко, отрицательно мотнув головой, отошел от мужиков и, присев на холмик повыше, накинута жадно на еду. Опомнился, оглянулся смущенно на мужиков, но те были увлечены своим разговором.

Пили из большого хрустального барского стакана с замысловатым вензелем, пьянели быстро.

— Хе, были Введенские да сплыли! — хихикнул Спиридон Саков, прозванный в деревне Коммунаром, разглядывая вензель на стакане. — Последнего барина, генерала, ить я с топором по Городку гонял!

— И догнал? — с участливым видом спросил Аркаха.

— Убег, сволочь! Еще б чуток, и я б его достал!

— Куда тебе, чаходирому! — захохотал Аркаха. — Языком токо молоть! Скажи, ведь придумал?

— Я?! — Спиридон, облезлый, пропитой оборванец, попытался отделить свой тощий зад от земли, но под хохот мужиков опрокинулся на спину, задрал длинные худые ноги.

— Тебе бы токо в прислужниках состоять! — не унимался Аркаха. — При главном коммунаре — председателе Пашке Сальникове. Как ты возле

него вился! Ровно вьюн! Ординарец, твою мать! А как бросил тебя Пашка, утек в город, кто ты теперь? Так, тьфу, обсосок!

Спиридон, кое-как поднявшись на коленки, размазывал пятерней грязь и слезы по лицу.

— Пашка, гад ползучий! Удрал! — подвывал он с обидой. — Звал в светлое будущее, сволочь!

Аркаха Ломунов порывисто вскочил с места и, уперев руки в бока, пошел вокруг компании вприсядку:

*Э-эх! А мы не сеем и не пашем,  
А валяем дурака!  
С колокольни дрыном машем,  
Разгоняем облака!*

Крикнул Санку:

— Давай, милай, наяривай!

Санко, икая от непривычной сытости в желудке, принялся наигрывать на гармони.

Мужики, ухая, с матерными частушками, пошатываясь, притоптывая ногами по едва заметным под бурой травой холмиком, заходили вокруг надгробной плиты с остатками пиршества. Плясали с таким злорадно-зверским выражением на рожах, с диким восторгом деря глотки, что Староверову не по себе стало.

Робкое октябрьское солнце упряталось за тучу, резко потянуло холодом, и невесомые снежные крошки, кружась, медленно оседали на обугленные руины часовни, на заросшее бурьяном кладбище, запутывались в нечесаных мужичьих гривах и бородах и тотчас таяли в горячем смердящем поту.

Знакомцы приглашали Санка на вечеринки потрапезничать и поиграть снова и снова. Он не отказывался, оправдываясь потом перед собою, что, мол, голод не тетка.

Уже и землю сковали заморозки, и снежная крупа, насыпавшаяся накануне за ночь, днем не таяла — следы от мужицкой пляски чернели причудливыми гигантскими каракулями. У Санка стыли от кнопок пальцы и приходилось дыханием отогреваться. Уханье и топот плясунов особенно дико и зловеще разносились в морозном воздухе по окрестностям кладбища, отталкиваясь крикливым эхом от стволов вековых деревьев, и Санко всякий раз давал себе зарок не ходить сюда больше. И нарушал его...



Пока в то далекое предзимье не одернул Староверова свой же ученик, Борька Ломунов:

— Не стыдно вам, Сан Саныч, с пьяницами-то якшаться! Ведь что тятка мой, что Спиридон — первые на деревне лодыри. По могилкам выплясывают, а вы им наигрываете... За кринку молока! Эх вы!..

Борька ушел, а ошарашенный Староверов долго приходил в себя. Впору от стыда сгореть... Как ученикам своим в глаза смотреть, Борьке этому? Но тот перестал ходить в школу, а Сан Саныча вскоре перевели работать в Городок...

## 2

Сколько с того минуло лет, все быльемросло, и не чаялось, что когда-нибудь да вспомнится...

На родину, в Городок, Сан Саныч навещался нечасто и ненадолго, и то когда летом в старом родительском доме гостила со своими внуками сестра. В этот раз гостить здесь предстояло одному: сестра разболелась и не приехала. Надо привыкать к сельской жизни, пусть тебе уже и за восемьдесят.

Староверов поднимался чуть свет и, торопливо одевшись, выходил на крыльцо.

Лишь край неба слабо зеленел. В сумерках, во влажном от августовской росы воздухе уже не пробовали голоса мелкие птицы, лишь доносился ленивый грачиный грай из городского парка.

Городок еще крепко и безмятежно спал. И шум от редкой, пронесшейся по центральной улице — шоссе — автомашины долго метался отголосками по его пустынным улицам.

Восток наливался ало. Сан Саныч, изрядно продрогший, но зато бодрый, с ясной головой, напоследок хватанув жадно воздуха, словно запасаая впрок, нырял обратно в избу и ставил чайник.

В это утро Сан Саныч, едва высунув на волю нос, заметил в соседнем огороде человека. Тот расхаживал по забороздку почти нагишом, прикрытый лишь тряпицей наподобие набедренной повязки, взмахивал руками, приседал, крикая: не иначе занимался физзарядкой. Староверов отупело уставился на живой скелет, обтянутый желто-фиолетовой кожей, причем фиолетового цвета — наколок — было значительно больше.

Мужичок приветливо помахал рукой, справил нужду под березой и, накинув на плечи заплатаанный, длиннополый, ниже колен пиджак, подошел к Староверову.

— А я-то подумывал, что ты, дорогой мой гражданин учитель, давно дуба врезал! — откровенно заявил он. — Не свидимся, думал... Меня, поди, и не помнишь?.. Бориска я, Ломунов! Ну?! — скалил он черные гнилые зубы. — Осудил я тебя тогда, Сан Саныч, умишком-то не скумекал, что не от сытого брюха ты мужикам перепляс на гармони наигрывал! А у самого меня жизнь так повернулась, так по репе наступала, как отомстила — будь здоров! Ты, Сан Саныч, поднеси-ка мне чарочку! Ей-богу, имею право, век свободы не видать! За встречу!..

Слова из Бори полились щедрым, сдобренным матом и похабщиной ручьем. Сан Саныч, морщась, узнал, что бывший его ученичок двадцать пять лет провел в тюрьмах. С краткими перерывами, правда.

«И всё попадал-то из-за пустяков! — бил он себя в чахоточную грудь. — В первый раз — за воровство. Сумели от колхоза из деревни тягу задать тятка с мамкой, осели в Городке, у свояка в доме с шестерыми ребятенками на руках. Жить надо, жрать надо. Отец охранником в местную тюрьму заделался. Зэков, нашего брата, шлепать! — Боря надул худые щеки и звучно хлопнул по ним ладонями. — Две сотни на тот свет отправил, потом самого приголубят, жди. Но до двух сотен мой папашка не дотянул, от чего-то сам загнулся. А я уж в ту пору на нарах вшей кормил. Связался с местной шпаной, пока родитель мой из нагана по зэковским затылкам палил. Однажды подломили мы склад, и замели меня менты с мешком тряпок...»

Вернулся Боря из мест заключения злой и голодный до жратвы, вина и бабьего тела. Заглянул домой — мать бьется с младшими чадами. Обняла сынка, поплакала, а накормить-то с дороги досыта и нечем.

Борька, двадцатилетний крепкий парень, не боявшийся ни чёрта, ни ментов, ни грязной работы, пристроился ассенизатором в горкомхоз. Левака хватало, что ни говори, а профессия эта самая нужная в городе. «Бабки» завелись, завелись и бабы. Особенно неравнодушен был Боря к ширококостной, пышногрудой Варьке. «Су-

щая стерва», она смачно высосала все Борины ресурсы, в том числе и сугубо мужские. От Бори осталась одна тень, да и ту мотало ветром. Однако силенок истяпать топором до полусмерти свою сударушку ему хватило, когда застал ее в постели с очередным кавалером...

«Живучая, сволочь, оказалась... — до сих пор сожалел Боря. — Я же ее любил...»

Срок ему навесили приличный — «червонец», и, отсидев все от звонка до звонка, возвратился в Городок Боря уже в зрелом вполне возрасте. Как человеку зрелому, ему хотелось от земляков уважения, почета, но все шарахались от него, как от зачумленного. Боре все же удалось вызвать интерес к своей персоне у кучки алкашей возле «казёнки», после того как он на последние кровные накопил винишка, и даже довелось выступить с бурной речью «за жисть». Если слушатели взирали на Бориса равнодушными остекленелыми глазами, то речь его явно не пришлась по вкусу бывшему летчику-истребителю в инвалидной коляске. Он прервал вошедшего в раж Бориса весьма непочтительно:

— Эх ты, герой с дырой! Когда мы жизни не щадили в битве с врагом, такие, как ты, в глубоком тылу на нарах прохлаждались! А теперь гоглями ходите, опойки!

Оскорбленный до глубины «нутра», Боря коляску опрокинул и орденоносца-инвалида в лужу вытряхнул. Ну и сам загремел опять...

— Всякое бывало! — заключил Боря, высосал из четвертинки последние капли и робко попросил: — Ты, Сан Саныч, может, еще найдешь?

Староверов, обхватив скулы ладонями, содрогаясь от омерзения и страха, неотрывно смотрел на Боря. Тот, очевидно, окрыленный неподдельным интересом к себе, осмелел:

— Сан Саныч, ты налей, налей мне! Имею я право выпить за свою развеселую житуху! Имею! У меня ж легкого одного нету, чахотка сожрала. Мне б сейчас отдыхать надо после последней ходки! Хи! — Боря дурашливо захихикал. — А попал опять из-за пустяка. Бабенка мне одна приглянулась. Дело — на складе, она там не то приемщица, не то зав. Ну, я ее на мешках поприжал маленько, своего добиваясь... Навешали потом изнасилование и разбойное нападение. Да ей самой хотелось, я ж мужик видный был...

Боря закашлялся натужно, задыхаясь, брызгая

слюной. Навалившись грудью на стол, он долго бился об столешницу головой и наконец, жадно хватая ртом воздух, поднял на Староверова красные, едва не вылезшие из орбит глаза:

— Отдохнуть бы мне... Думал, доползу до порога, обнимусь с мамой... Ан нет! Мамы уж давно в живых нету, и хоть написал бы мне кто из сестер! Братец хренов, погоняло — Аллюра, уморил ее голодом, старухи соседки соврать не дадут. Пенсии у мамы никакой, братец от «хозяина» пришел с пробитой башкой, дурак дураком и уши холдные. Всего и «червонец» за грабеж отсидел, супротив меня — «съявка», а на работу куда не берет. Мать чугунок картошки сварит, он все в однуточку сожрет. А чтоб с матерью не делиться, нахаркает туда прежде. Мать и иссохла вся, и сестры не спохватились вовремя в чужих городах, — Боря вытер мокрые глаза замусоленным рукавом пиджака. — А братец родной мне с порога — я тебя, дескать, знать не знаю, канай, фраер, куда хочешь! Только и проняло, когда поллитру у меня в кармане заметил. Выпили, закусили — и он на меня драться! Решил — все, хана! Еле вырвался. Пришлось возле дома на воле куковать, пока не уснул, сволочь. В сеннике я заночевал. Весна еще ранняя, замерз так, что до сих пор отогреться не могу... Вот и жили. Удастся Аллюре этому где стакан палёнки раздобыть, и сразу лезет ко мне пластаться. Уноси ноги — бьет смертным боем!.. И ты знаешь, соседушко, эту сволочь, этого фраера в дурдом намедни упекли! Сестры позаботились. На вечное поселение-е! — злорадно протянул Боря и запрыгал, совершая нечто наподобие танца. — Теперь жизнь-я у меня будет! Лафа! Век воли не видать!

Сан Саныч, глядя на пляшущего Боря, ужаснулся. Сияясь припомнить лицо своего брата-погодка, в далеком детстве задавленно-го насмерть обвалившейся крышей старого двора, где мальчишка спрятался, играя в казаки-разбойники, подумал: неужели и мы бы так? Как два затравленных волка?! Подстрелили одного, а другой все еще скачет в кольце из красных флажков, охваченный безумной радостью, начисто убившей всякий страх: не его, не его! Может, еще и вырваться удастся?!

— А если б ты, Борис, был брата поздоровее?

— Так я б его, падлу, жизни лишил!.. Слушай, Сан Саныч, не найдется у тебя одеколончику?

— «Тройной» только.  
 — То, что надо! — пришелкнул языком Боря.  
 — Нужно ж это дело толком отпраздновать! Одолжи?!

Вскоре тихий проулк огласился Бориным пением. Борис восседал на пороге дома и издавал хриплые яростные крики, чередуемые с жуткими матами нараспев. На некоторое время певец стихал, вероятно задремывая, но потом опять упорно выводил свою песню...

Утром Сан Саныч на всякий случай осторожно обошел кругом Борин домик. Внезапно в одном из заколоченных окон откинулась фанерка, и в амбразуру просунулась плешивая голова Бориса со страдальчески искривленным лицом.

— Сан Саныч! Не посчитай западло, сбегай за водичкой! — Борин голос доносился как из могилы. — Подыхаю...

К ногам Староверова упал закопченный помятый котелок.

Сан Саныч попал словно в мрачное нутро погреба. В пробивающихся с улицы в щели между досок на окнах лучиках света он различил большую грудку кирпичей посреди пустой избы, а за нею, поприглядевшись, и Бориса. Тот стоял на карачках.

— Волоки котелок сюда! — просипел он ступавшему боязливо по земляному, изрытому ямами полу Староверову. — Ставь!

Из кирпичей было сооружено нечто вроде очага. Боря, раздув теплинку, на четвереньках, охая, дополз до притулившейся в углу койки, залег, наваливая на себя грязный ком тряпья.

— Наверно сдохну! На радостях-то вместе с одеклоном выжрал лаку бутылку. Вроде лак как лак, а скрутило и вывернуло — не продохнуть! Каюк! Опохмелиться бы, выручи...

Пропустив водочки и слегка перекусив, Борис сразу оживился, порозовел даже. Глазки

его под мохнатыми рыжими бровями, довольные, забегали:

— Что ни говори, Сан Саныч, а я богатырь! Не перевелись еще они! — Боря сел на койке и, раскидав тряпье, заболтал ногами. — Сорок градусов за воротник, чего занюхать — и никакой мороз, зима не страшны! Кто другой на моем месте давно бы коньки отбросил, а я не собираюсь. Пляшу и песни пою! Еще поживем, еще увидим! Па-а-а диким степям Забайкалья!..

Боря надрывно заголосил, а Сан Саныч, сидя на корточках у костерка, на котором сердито шипела вода в котелке, следил глазами за струйкой дыма, исчезающей в квадратной дыре в потолке дома.

— Печь, язви ее в душу, обвалилась! — резко оборвав завывания, радостно воскликнул Боря, перехватив взгляд Староверова. — Пыли, копоты было! — он захохотал с таким злорадством, будто не у него в доме, а у ненавистного врага развалилась печь.

Хохот сотрясал все тщедушное Борино тело, он и вытряхнул все последние силенки. Борис, корчась на койке, вскоре только беззвучно открывал и закрывал рот, будто рыба, выброшенная на берег.

Из котелка через край хлынул кипяток, взорвавшись облаком пара на тлеющих углях. Сан Саныч, не попрощавшись, поскорее выскочил из избы-чума: от пара вперемешку с гарью сдавило в груди.

«Господи! Как он зиму-то переживет, ведь погибнет! И сам не понимает этого! — мысли Староверова металась суматошно. — Может, пригласить его пожить зимой у меня? Нет, только не это!.. Где же выход?»

Ничего не придумав, Сан Саныч решил пока носить бедному соседу и ученичку кой-какую еду.

Поживем-увидим...

## 1

# ПОМИНОК

## рассказ

Афанасия Николаевича Сальникова не переставали мучить во сне кошмары. Не одну ночь кряду, стоило ему лишь прикрыть глаза — и, как живой, вставал Павел. Можно было делать что угодно: ущипнуть себя нещадно, попытаться пальцами силой разлепить веки — ничто не по-

могало. Обросшее щетиной лицо старшего брата было изможденным, в кровоподтеках, а в широко раскрытых глазах стыл страх.

«Братка, да как ты мог? За что?» — беззвучно шептали разбитые, распухшие губы Павла.

Афанасий Николаевич поспешно опускал глаза, и взгляд его упирался в вороненый наган, зажатый в руке. Немного позади Сальникова стояли вооруженные не то солдаты, не то чекисты, но стрелять в жалкую скорченную фигуру брата, жмущуюся к краю отверстого черного зева ямы, назначено было именно ему. Те, другие, подступив ближе к Афанасию Николаевичу, дышали ему в затылок, давили под ребра стволами своих наганов, давая понять, что если он сейчас не выстрелит, то сам будет немедленно вытолкнут к брату на край ямы. У Сальникова, вставая дыбом, зашевелились на голове остатки волос; еле двигая непослушным, немеющим от страха языком, он забормотал: «Я не хочу! Я боюсь! Я не хотел этого, Павел!» — и... торопливо давил пальцем на револьверный спуск, просыпаясь с истошным воплем.

Стоило Сальникову помянуть старшего брата, как кто-то, облаченный в черную мрачную одежду, появился возле его дивана. У Афанасия Николаевича сердце екнуло — Павел! Он стоял и усмешливо-жестко шурил глаза.

Нет, помнится, в тот далекий год они были растерянные, жалкие...

Запоздалая весна топила в грязи улочки Городка, и ошметками глины был обляпан весь зипун Павла, будто брат во все лопатки удирал от кого-то по дорожной колее. Павел тяжело и хрипло дышал, хмуясь, вяло подал Афанасию руку и, не скидывая зипуна, наследив по полу сапогами, прошел в передний угол и с маху плюхнулся на стул.

— Как жизнь? — спросил без интереса и, не дожидаясь ответа, потрянул взлохмаченной головой. — Продрог я... Выпить чего держишь?

Водку Павел выщедил медленно, сквозь зубы, уткнул нос в ломоть хлеба, согнулся над столом, передернул плечами. Не дожидаясь приглашения, наполнил стакан снова.

«Не иначе, Пашка с похмелья! Притом с жуткого! — решил Афанасий. — Ишь, как харю-то извело, будто неделю гужевал. Вроде и

не увлекался шибко. Что-то у него неладно...»

Павел был уполномоченным по коллективизации и председателем «тройки» в Загородковской волости, самой большой в уезде.

«Лют Панко-то Сальников, лют!» — подслушал однажды Афанасий разговор двух подзагулявших загородковских мужичков.

Соседям Сальникова они, видимо, приходились родственниками, собирались после гощения ночевать и выбрали из дому покурить махры. Афанасий как раз за дровами вышел и, прижимаясь к забору, прислушался к их пьяному и оттого слишком смелому бормотанию. Шпарили мужики без оглядки:

— Сколь крепкого хозяина этот Панко извел! «Твердым» заданием обложит, как удавку на шею наденет. Иной вывернется еще, разочтется, а ему вскорости — еще больше. И — каюк! Самого в торягу, семью на высылку. Как его иные мужики упрашивали, в ногах валялись, а Панко этого не сдвинешь, не прошибешь!

— Вырвем у кулака шерсть и яйца — и точка! — другой мужичок подхихикнул. — А верно, что его и пуля не берет?

— Как заговоренный, дьявол! Два раза покушенья делали — и хоть бы царапина! Ни Бога, ни черта не боится!.. Мужиков, вона, из села Середнее сбегло несколько от колхозу в лес. Укрылись в зимовье, видать, лихое времечко сбились пересидеть. А куда ни кинь — жрать охота. Домой к семье по ночам ползать — сцапают. Вот и стали мужички на большую дорогу выбираться. Глядишь, обозишко какой подкараулят, лопанины-то всякой немало из деревень в город везут. Может, и брали-то с возу чего, только чтоб голод стешить, однако бросились власти тех мужиков искать. Рыскали-рыскали по лесам, да все без толку: робята ушлые, схоронились добро. И, поди ж ты, Панко выследил! К зимовью подкрался, дверь распахнул! И пока мужики рты разевали, он — наган на стол: дескать, сдавайтесь по добру-поздорову, я — Павел Сальников!.. Сдались, куда денешься...

Прозябший Афанасий, вслушиваясь в слова мужиков, сгорал от черной зависти к брату. Лих Пашка!..

И вот не столь уж и много времени с того подслушанного разговора минуло, и Пашка

сидел перед Афанасием пьяный, лицо его с ранними морщинами на лбу и возле глаз страдальчески кривилось:

— Надломился я, Афоня! — он уронил голову на сжатые перед собой на столе кулаки, голос хрипел и дрожал. — Впервые в жизни струхнул, в коленках ослаб!.. Чин-чинарем определил я трех мужиков с семьями на высылку, а они об этом откуда-то узнали до поры. Подкараулили на волоку. Ночь накануне я не спал, сморило по дороге, в седле аж задремал. Поначалу подумал — сам с коня гребнулся. Хотел на ноги вскочить, а уж один вахлак на мне верхом сидит, руки выламывает и ремнем вяжет, да еще двое подле с топорами стоят. Говорят: «Узнали мы от верного человека, что ты и нас надумал извести как злейших врагов. Какие ж мы враги? Один вон красноармеец бывший и другие своим хребтом достаток добывали. Одно лишь горе ведают люди от тебя... И посему надумали мы над тобой суд-расправу учинить. Молись Богу, коль еще веришь в него!» Отошел мужик немного, обрез на меня наставил, затвором клацнул. И все во мне ровно перевернулось, вся жизнь перед глазами промелькнула... Жена, дочки прямо передо мной будто очутились, заулыбались жалостливо так... И знаешь, на колени упал... — Павел заскрипел зубами. — Мужики, говорю, пощадите, не убивайте! Дочерей, говорю, пожалейте, ведь трое их у меня, да и баба опять на сносях! Себя не жалко, а они загинут!

Тот мужик, что постарше, обрез у напарника в сторонку рукой отвел. Поостынь, мол, маленько, подумать надо... Отпустим тебя, Павел, с миром, только ты слово дай, что потом ни нас, ни семей наших пальцем не тронешь. А коли не выдержишь, то под землей сыщем, детям расквитаться накажем, мертвые к тебе придем... Дал я слово. Развязали — уходи!

— А ты их опосля в бараний рог?! — сжимая кулаки, скорчил зверскую рожу Афанасий.

Павел устало и тоскливо посмотрел на брата:

— Что я, иуда какой? Низко, братан, ставишь. Понял я, что больше мне на этой должности не повертеться. Моих детей пожалели, а мне чужих не жалеть? Да и правильно ли все это делается-то?!

Афанасий насторожился, метнул испуган-

ный взгляд на занавешенные окна. Павел мрачно усмехнулся:

— Ишь, какой опасливый стал! Не боись! Я так теперь ничего не боюсь. Пойду завтра к секретарю райкома, пускай что хотят, то со мной и творят...

Афанасию не удалось узнать, на что сослался Павел, чтобы его отставили от должности, однако вскоре он уже работал простым мастером на сплавучастке. Братья виделись редко, мимоходом. Так и прошло несколько лет...

О разговоре с братом тем поздним вечером Афанасий уже основательно подзабыл, но однажды пришлось вспомнить все дословно.

Весной тридцать седьмого года неожиданно арестовали скромного неприметного человечка Селезнева, бухгалтера коммунхоза, потом еще кое-кого увез «черный ворон». У Афанасия сердце в пятки ускочило, когда ему принесли вызов в районный отдел НКВД. Но следователь, в котором Сальников с удивлением узнал своего прежнего участкового милиционера — балбеса Куренкова, встретил Афанасия Николаевича радушно:

— Сколько лет, сколько зим! — он с чувством потряс Сальникову руку. — Присаживайтесь! Рассказывайте! Как жизнь, как работа?

Афанасий Николаевич, недоумевая, пожал плечами: жизнь как жизнь.

— А как это у вас, председателя горсовета, прямо, извините, под носом сумела окопаться целая банда вредителей и врагов народа? Ведь готовили заговор. Ни много ни мало хотели законную власть в районе свергнуть. Этот ваш Селезнев намеревался выехать в Москву и — подумать страшно! — хотел устроить покушение на жизнь нашего дорогого и любимого... — Куренков, округлив, ровно полтинники, глаза, обернулся к портрету, висевшему над ним на стене.

Афанасий Николаевич ахнул, прикрыл ладонью рот. Слово «ваш» неприятно покарябало слух, и, ощущая противенькую дрожь в коленках, Сальников залепетал заплетающимся языком:

— Какой он мой... Поди да разгляди их под личиной-то! Все однакие... кабы знать!

— Вот, вот! — следователь повернул колпак настольной лампы, и Афанасий Николаевич на мгновение ослеп от яркого света. — Надо знать! И не теряйте бдительности. Чуть что — сообщайте

нам сразу же. Еще неизвестно, что за элементы засели в горсовете... — Куренков сделал выразительную паузу. — Вокруг вас!

Слепящий сноп света опять уткнулся подслеповато в столешницу, Афанасий Николаевич, протирая глаза, вздрогнул, почувствовав на своем плече ладонь следователя, подобравшегося неслышной кошачьей походкой.

— Это я вам по старой дружбе советую. Мало ли что может случиться...

Выйдя из сумрака подвальной комнаты отдела НКВД на волю, Афанасий Николаевич долго не мог нахвататься воздуха жадно распяленным ртом: там, в подвале, показалось, сдавило грудь — навсегда, так что уж больше не вздохнуть полно и свободно.

Но через неделю тяжесть в груди перестала ощущаться, лишь душу разъедал неприятный осадок. «Кто он есть, этот Куренков?! Балбес, придурок! — чертыхался в сердцах Афанасий Николаевич. — И надо же, чтобы я перед ним... Ишь, каждая вошь на ровном месте выдывается!..»

Сравнение с вошью что-то не понравилось Сальникову самому, но корить себя за пережитые минуты страха перед каким-то недоноском он не переставал.

Известие о том, что арестовали первого секретаря обкома, Афанасия Николаевича буквально пристукнуло по тыковке. Занавесив плотно окна, он беспокойно метался дома по горнице, хватался за голову. Ладно, бухгалтеришко Селезнев — вечно косился с ехидцей из-под стеколышек очков, чистюля, интеллигент! Или зять царского полковника Введенского учитель Зерцалов, дворянин-недобиток, которого тоже увезли в воронке. С этими хоть все понятно. Но тут...

В газетах всюду шумели о процессах над врагами народа в Москве. И если уж там — думал Сальников — и над такими большими людьми!.. Коренастая, крепко сбитая фигура следователя Куренкова перед его глазами вырастала до чудовищных фантастических размеров, и, отбросив газету с очередным сообщением, словно страницы ее накалялись вдруг добела, Афанасию Николаевичу хотелось забиться куда-нибудь в шель за теплой печкой. Как сверчку. Но надо было держать себя на работе подчеркнута сосредоточенно, без малейшей тени намека на страх, не даю-

щий спать спокойно по ночам, в докладах подбирать слова похлеще и попохабнее, поминая пресловутых «вредителей», и быть осторожным, очень осторожным. Револьвер под подушкой и прочные ставни на окнах теперь не защита.

Тут братец Павел и подкачал. Весной на сплаве плоты застряли у моста через реку, громоздясь друг на друга, и Павел, чтобы избежать затора, приказал взорвать мост. Мост взлетел на воздух, а Павла через пару часов арестовали как злостного вредителя.

Афанасий Николаевич от такой вести долго не мог прийти в себя. С братом виделись буквально пару дней назад.

Павел, довольный, рассказывал: «Мужикам в артель котел понадобился. Где взять, ума не приложу. А потом додул... У дома, где живем, банька старая имеется, подладил я ее. Мужикам говорю: вы ночью в баньку прокрадитесь и котел своруйте. Под утро слышу — прутся по огороду, как стадо коров на водопой. Жена у меня проснулась и прислушалась: «Вроде б кто-то возле дома бродит?» — «Поблазнило тебе», — отвечаю, а едва держусь, чтобы не расхохотаться. — «Чем-то брякают у бани, кажись?!» — «Со сна чего не померещится!» Не могу, руку зубами закусил, ну, точно, продам мужиков! Ничего, успели, убегли с котлом. Утром баба — в слезы, я — в хохот, что операция удалась».

«Совсем дураком ты стал, Паша!» — не сказал вслух, а подумал тогда Афанасий...

Вот и теперь мост наверняка можно было бы не взрывать, по-другому выкрутиться, на стихию списать. Нет, подставил шею. «Сам втяпался и меня за собой потащит. Пусть не он сам, другие поволокут, — Сальников представил широкоскулое, с жесткими безжалостными глазами лицо Куренкова. — Надо что-то скумекать. А если... упредить? — осенило Афанасия Николаевича. — Попробуем!»

Вынув из стола чистый лист бумаги, Сальников, обмакнув перо в чернильницу, принялся бойко выводить — нужные слова приходили сами собой:

«Довожу до вашего сведения, что я еще не сегодня подозревал, что мой брат Сальников Павел Николаевич переродился и стал вредителем и врагом трудового народа. До поры до времени он вынашивал и скрывал свои мерзкие намере-

ния. Говорил лишь как-то, что не верит в достижения и успехи коллективизации, что все это зря, и, видимо, вел соответствующую агитацию среди народа. Скрывал искусно от раскулачки ряд мироедов, вдобавок выходящих грабить обозы с хлебным припасом на дорогах. Без сомнения, был в сговоре с ними. Так что взорвать злодейски мост, в то время как весь трудовой народ по-ударному строит социализм, для него было пара пустяков.

Я решительно и бесповоротно порываю всякие связи с подлым врагом, отрекаюсь от него как родного брата».

Афанасий Николаевич перечитал написанное, от удовлетворения крикнул: «Отвезу сегодня же Куренкову, он-то уж найдет ход!..»

## 2

**А**фанасий Николаевич решился рассказать о своих сновидениях дочери. Она, пережившая двух супругов, одного — пьяницу, другого — убийцу, подняла на отца обведенные траурными ободками печальные глаза:

— Поминка твой брат просит. В церковь надо сходить и панихиду заказать.

— Это по Пашке-то?! — задрезжал смешком Афанасий Николаевич.

Даже весело старику стало. Уж кого-кого, а Павла-то точно бы святая церковь предала анафеме как злейшего своего врага, разуйся бы одно дело...

Не сломался еще тогда Пашка! Ох, и крут он был в уполномоченных!..

Павел в тот давний свой приезд в Городок был хмур, озабочен.

— Попа здешнего надо допросить. Из собора — пришло к нам постановление — ценное в фонд выгрести... Описали все, охрану поставили, наутро б забирать да везти, а замки отомкнули — внутри хрен ночевал. Кто вот успел?

— Можно с тобой? — попросился Афоня.

— Валяй!..

Настоятель храма отец Иоанн, иссохший согбенный старец, стоял перед иконами, творя молитву. На вбежавшего Павла он не оглянулся, лишь сквозняк, загулявший по светелке, озорно взъерошил редкие седые волосы на его затылке.

— Где церковное золотишко схоронил?! — взорал Павел с порога.

Плечи старца слегка вздрогнули, настоятель осенил себя размашисто крестным знаменем и поклонился.

— Чего шепчешь-то, чего? — Павел забежал сбоку и устоялся в упор на отца Иоанна. — Небось, обрадел, что припрятать-то успел? Бога своего благодаришь? Ну, ничего, заговоришь у нас скоро!..

Зимний день исчах, затух... По хорошо наезженной колее лошади фодко бежали сами, без всякого понукания, и Афоня, отпустив вожжи, начал на облучке поклевывать носом. Он очнулся от толчка в спину и испуганно заозирался в кромешной тьме. На счастье, месяц робко проглянул в просвете среди облаков, и при его неровном мертвенном свете на Афоню опупело вытирашил блестящие полтинники глаз Павел.

— Остановись, ну-ко!

Брат спрыгнул с саней, четкими отработанными движениями расстегнул кобуру и подкинул в руке наган.

— Вылезай, поп! Читай молитву!

Связанный священник боком вывалился из санок, каким-то чудом устоял на ногах. Павел ткнул ему в бок ствол нагана:

— Ты еще можешь спасти свою шкуру! Назови тех, кого подучил золото скрыть!

Отец Иоанн молчал, зато староста храмов не выдержал, заголосил тонко, по-бабьи, с надрывом:

— Батюшка, да скажи им, окаянным! Не губи себя.

— Молчи! — жестко оборвал его священник. — Господь не простит, коли отдадим святыни псам на поругание!

Резким толчком Павел свалил отца Иоанна и, сдернув с саней связку вожжей, захлестнул тугой петлей его ноги.

— Счас ты у меня иное запоешь!

Павел запрыгнул в санки, закрепил свободные концы вожжей и прикрикнул Афоне:

— Чего рот раззявил? Гони!

От окрика Афоня прирос к облучку, не в силах шевельнуть ни рукой, ни ногой, и тогда брат, вырвав из его рук ременницу и раскрутив ее над головой, с гиком опустил на круп лошади... Все смешалось: и яростный визг ползья-

ев, и стоны отца Иоанна, и причитания, мольбы, проклятия старосты, и грохочущий площадный Пашкин мат...

У окраины города Павел остановил лошадей, вразвалочку, поигрывая ременницей, подошел к неподвижно распростертому на снегу, в черных клочьях изодранной рясы, телу отца Иоанна:

— Теперича поговорим?

Носком сапога он подопнул мертвое тело под бок.

— Да ты, кажись, спекся.... Вот незадача! — Павел залез пятерней под шапку и поскреб за тылок...

### 3

Обо всем этом и вспоминал в подробностях Афанасий Николаевич, пока воскресным днем брел к Божьему храму. Ничто не упустила память, все случилось будто бы вчера. И поневоле замедлил Сальников шаги, подходя к воротам церковной ограды. Не пошел бы сюда, если б не измучивший донельзя брат, являющийся во снах! Но вдруг это взаправду поможет избавиться от изнуряющих видений окровавленного Павла, кончившего свои дни где-то в колымских лагерях, в последнее время еще и изуродованной рукой манящего за собой на край страшной ямы!

У ворот было безлюдно. Из храма доносились приглушенные толстыми стенами звуки песнопения: правили службу. Сальников, топчась возле кованой узорчатой калитки, никак не мог одолеть робость, непонятный трепет. Задрал голову — и ослаб в коленках: высоченная белоснежная колокольня, полощущая золоченый крест в облаках, медленно и неумолимо падала на него... Старик поспешно вцепился обеими руками в прутья калитки, прижался к ним.

Нет, ни при чем он! Не предавал мученической смерти священника, как Павел, и когда окончательно разорвали в городе и в округе храмы, не жег костры из икон и не драл поповские ризы на тюбетейки пацанам, как уполномоченный Иван Бахвалов. Но приплясывал рядом с ним, любуясь, как с этой же вот колокольни сбрасывали колокола, и под его грозным взглядом с угодливой готовностью метнулся на подмогу замешкавшимся с большим колоколом активистам из городских оборванцев, чтоб и мысли не поимел

уполномоченный, что юный комсомольский секретарь трусит, а то и сочувствует церковникам-мракобесам...

Тихонькой подловатой радостишкой залился Сальников месяц спустя, услышав что Бахвалов, догромивший в округе все церкви до одной, вдруг помер в страшных мучениях. Слухи ходили разные: то опился самогоном, то отравили обиженные недруги, но сходились на том, что была на то воля Господня, уж больно лютовал уполномоченный. Афанасий порадовался — порадовался да сник трусовато. Твердил, как и Бахвалов, на каждом углу, что Бога нет, что выдумали его попы, дабы охмурять трудовой народ — все согласно учению родной партии, а тут подкралась мыслишка: если это не так? Бахвалов-то, говорят, помирая, орал, будто на части его рвали! Вдруг божья кара?!

Тогда, среди повседневной суеты, мыслишка эта затерялась, истаяла. И только сегодня, возле церковной паперти, Афанасий Николаевич начал осознавать, что вся его бестолковая, полная унижений и мытарств, вечного страха долгая жизнь — расплата за молодость, одураченную, беспощадную, бездумно сломавшую свою и чужие судьбы с безумной верой в ... ничто.

У входа в храм Сальников столкнулся с двумя немолодыми женщинами в одинаковых белых платочках. Женщины, обходя Афанасия Николаевича, как-то странно поглядели на него, в лицах их ему померещилось что-то знакомое.

Сидящая на паперти старушка ненавязчиво и деликатно раз-другой дернула за штанину разинувшего рот Сальникова, распялила коричневую ладонь со скрюченными пальцами.

— Подай Христа ради!

Афанасий Николаевич торопливо пошарил в карманах, нашел несколько завалившихся монеток, высыпал на ладонь.

— Спаси Бог!

— А кто они? Не знаете? — пригнувшись к нищенке, он кивнул вслед женщинам.

— Вани Бахвалова дочери. Поди, знавал такого? Много горюшка сотворил, безбожник... А теперича вот дочки при церкви прислуживают, грехи отцовы замаливают. И тебя-то, мил человек, я помню. Молоденьким еще. Кулачил ты нас, семью всю выслал. Одна я и возвратулась.

Сальников испуганно отшатнулся, но нищен-



ка смотрела на него по-прежнему добрыми слезящимися глазами.

— Да простит тя Господь...

На плохо гнушихся, будто окостенелых ногах Афанасий Николаевич стал подниматься по круто вздернутой вверх лестнице. Сердце было готово выпрыгнуть из груди, и посередине пути, навалившись на перила, Сальников остановился перевести дух.

Бахваловские дочери, поднимаясь мимо него по ступеням, теперь посмотрели на него не столько удивленно, сколько с неодобрением:

— Кепку снимите, здесь дом Божий! — прошептала одна из них.

Афанасий Николаевич поспешно сдернул кепку, с великим трудом пересиливая желание зашагать вниз, обратно, да и пошустрей! Прочь отсюда, куда глаза глядят!

Но печальное торжественное пение, доносившееся сверху, притягивало, завораживало, и Сальников против своей воли опять стал подниматься по лестнице. «Да и Пашка опять покою не даст! Так, ровно в затылок, все время дышит!» — оправдывался он.

Правили архиерейскую службу. Народ в престольный праздник заполонил храм; стояли вплотную друг к дружке. Афанасий Николаевич завставал на цыпочки, завтягивал шею, пытаясь разглядеть, что творится в полутемной глубине храма, но в это время церковный хор умолк. Из царских врат на солею вышел в сияющих ризах архиерей.

Сальников напряг зрение — вдаль он видел еще неплохо, без очков, и обмер. Отец Иоанн, убиенный Павлом той давней ночью, с кроткой смиренной улыбкой благословлял прихожан. Это точно он! Седая курчавая борода, низко навис-

шие над глазами седые брови, ласковый взгляд. Только одеяния на отце Иоанне не траурно-черные, а сияющие до рези в глазах. Но как же так? Ведь Сальников самолично трясся от страха и холода над его изувеченным, в изодранной рясе, телом!

Афанасий Николаевич заозирался, ища помощи, ноги не держали его. Из-под куполов, со стен смотрели сурово строгие лики святых. «Я не виноват! Всё Пашка!» — попытался крикнуть во всеуслышание Сальников, но из уст вырвалось лишь невнятное мычание. Он попятился к выходу, едва не налетел на человека, стоящего на коленях перед иконой в притворе храма. И человек этот оказался очень знакомым...

«Па-авел!» — растянул рот в беззвучном крике Афанасий Николаевич и отшагнул в пустое пространство...

Грохот от падения его сухонького маленького тела встряхнул звонницу, отдаваясь эхом под ее высоким сводом. Сальников, обив бока и голову об околоченные полосами железа края лестничных ступеней, весь в крови, лежал навзничь на паперти, раскинув руки и ноги.

— Как уж тебя угораздило-то, сердешный?!

Старушонки, кое-как приподняв Афанасия Николаевича, сошли с ним на землю, положили между могилок подле стены храма. Нищенка, поддерживая на коленях его голову, отирала кровь платком, дочери Ивана Бахвалова, испуганные, часто клали кресты, шепча молитвы бескровными губами.

Афанасий Николаевич разлепил веки, в красном тумане над ним склонился брат Павел...

— Прости их, Господи! Не ведали, что творили... — перекрестилась нищенка и легонькой своей ладошкой закрыла Сальникову глаза.

## СТАРАЯ ИГРУШКА

### рассказ

#### 1

**Р**уф Караулов дожил уж до седых волос, лета упорно поджимали под полтинничек, а до сих пор он не знал — любила его мать или нет.

Запомнилось: в крохотной своей комнатке она ставила маленького Руфа перед стеной, сплошь увешанной иконами, и сильно, до боли, нажимала цепкими пальцами на плечо, вынуждая сынка плюхнуться на коленки. Руф послушно шептал вслед за матерью непонятные слова молитв, путал, перевирал их, под козым материнским взглядом крестился и старательно прикладывался лбом к полу. Знал, что теперь будет отпущен гулять на улицу.

Мать пекла просфоры для единственного в городе храма. Ее, всегда ходившую в темной долгополой одежде и наглухо, по самые брови, укутанную в такой же темный платок, со строгим взглядом немигающих глаз и со скорбно поджатыми в ниточку губами, соседи по улочке именовали «попадшей» или «монашенкой». А Руфа, стало быть, все кому не лень обзывали «попёнком».

Как он ненавидел свое прозвище и желал избавиться от него! Чтобы каждый слабак или девчонка не дразнились, Руф пытался липнуть к самым хулиганистым пацанам в школе. Те подбивали простодушного, бесхитростного Руфа вытворять разные пакости учителям, дурачиться на уроках, но выстроит из себя крутого у него все равно не получалось. Проклятая кликуха оставалась как приклеенная, а дома еще мать за шалости славно лупцевала сына вицей.

Руф, переваливаясь с двойки на тройку, героически дотянул восьмилетку, а дальше путь известен: шапку в охাপку и — бегом в пэтэуху!

Азы профессии столяра и плотника он осваивал охотно; на другом краю города среди незнакомой ребятни и прозвище от него отлипло. Разве еще кто из соседей по набережной улочке поминал, и то изредка. Да был бы Руф гладкий и пузатый, с бородишей до пупа!.. А то он ростом не удался, в кости мелковат, сух — в чем только душа держится; глаза на узком длинном личике — навывкат, водянистые, мамкины.

В пору отрочества басина у него прорезался; мужики-наставники на практике в стройкомбинате хохотали — мол, всех девок и баб, паренек, этаким гласом распугаешь! И как в воду глядели: семейством впоследствии Руф так и не обзавелся, остался холостягой. Обегал его слабый пол: ведь он забудется, недотепа, гаркнет во всю мощь, что воронье с гвалтом с деревьев сорвется, — любая тут перепугается. Но душою-то он был добрый... У учителей, на чьих уроках сглупу изгалялся, прощения готов был просить и свою суровую мать на руках бы бережно носил, если б позволила. А коли не приветил его никто, развел тогда Руф в сарайке возле дома целую колонию кроликов, заботился о них и, бывало, ночевал среди этих ушастых и пушистых созданий. Что поделатъ, если плотничанье и столярное ремесло располагают иногда к закладыванию за воротник...

Случалось, в ненастье в сараюху вместе с Ру-

фом затесывался компаньон, а то и не один. Через некоторое время вечернюю тишину встряхивал хорошо знакомый соседям бас, выводя слова какой-нибудь разудалой песни. Концерт продолжался до тех пор, пока в дверях сарайки не появлялась разъяренная мать Руфа, сжимая в руках суковатую палку. Основной удар принимал на себя Руф, пока гости невредимыми уносили ноги.

После добавочной утренней головной боли он, смятенный, превозмогая сушь во рту, пытался оправдываться перед матерью, припоминая чьи-то чужие слова: «Не мы такие — жизнь такая!»

А жизнь катилась и катилась... Не в гору и не под гору. В последнее время Руф все чаще заглядывал по утрам в комнату к матери и, стоя на пороге, вслед за нею шептал затверженные с детства слова молитв. Мать в такие дни смягчалась и сына, вкушавшего небогатый обед, не одабривала суровыми взглядами и не ворчала под скорый брякоток его ложки.

— Ты бы в храм помолиться сходил, — обмолвилась она как-то.

Руф же благое пожелание пропустил, как всегда, мимо уха — еще чего доброго снова попёнком дразнить начнут. В детстве обидно было, а теперь, с седыми волосами, еще пуще. Мать его в храм за руку никогда не тянула, видно, рассуждая: приспичит — сам побежит...

## 2

Ленка сидела у окна, закинув ногу на ногу, и курила. Сделав затяжку, она вальяжно отводила в сторону руку с зажатой в пальцах длинной пахучей сигареткой. При этом движении полы Ленкиной легонькой, явно нарочно не застегнутой кофточки расходились, бесстыже оголяя упруго колыхающиеся груди с большими темными кружками сосков. Ленка опять подносила к губам сигарету и, усмехаясь, краешком глаза следила за смущенным Руфом, жмущемся испуганно в углу.

И откуда, из какого далека она взялась?..

Руф вроде б уж и не вспоминал о голенастой рыжей девчонке из соседнего дома. Там жил одиноко старый холостяк, школьный учитель, и каждое лето его навещала старшая сестра. Вместе с ней из далекого неведомого города

приезжало и ее семейство — дочь, зять-капитан и внучка. Черноволосый капитан, затянутый в парадную форму, шеголевато прогуливался под ручку с толстушкой-женой по городским улочкам, выразительно по-хохлацки гэкая. Служил папаша не ахти в каких знаменитых и привилегированных войсках, всего-навсего в автобате, но малолеток Руф о том не ведал, взирал заворуженно на редкие медальки к разным юбилеям на офицерской груди.

Впереди четы выпрыгивала бойко рыженькая конопатая девчушка. Вот уж сорвиголова! Стоило ей приехать, и вся ребятня с улочки сбегалась к своей заводиле. Толокся тут и Руф на правах ближнего соседа: в игры играть его местная пацанва не больно привечала. Начнут смеяться над большушей, словно капустный кочан, его башкой, болтающейся на хилом тельце от плеча к плечу, над штопаной-перештопаной затрапезной одежкой — сам убежишь от позора из компании. При Ленке — нет хоть бы словечко ехидное кто сказал, ей в рот глядят самые что ни на есть Руфовы обидчики. Почему и как насмешливая и дерзкая девчонка прониклась жалостью к несуразному соседскому мальчишке — бог весть; она ведь не только его от задира защищала. Видел бы кто из них, как Ленка втихаря выносила из дома для своего друга кусок булки с маслом или горсть конфет и угощала его в укромном месте. Руф, краснея и глотая голодные слюнки, поначалу мужественно отнекивался от подарков, но Ленка настаивала, как всегда:

— Не ерепенься!.. Бери! Никто знать не будет...

Папа-офицер и мамуля поглядывали за тем, как неотступно таскается лопухий заморыш за их дочкой, посмеивались снисходительно:

— Кавалер...

Эх, беда, беда, когда и вправду пора этому подошла! На танцплощадке в городском саду пацаны выюнами вились возле Ленки, по-городскому подчибриченной, своих местных подружек, начинавших в Ленкином присутствии застенчиво пышкаться, позабыли. Руфа, понятно, отпихнули в сторонку, да и на танцульках-то он, несуразный, когда пытался кривляться и дергаться, только хохот всеобщий вызывал. Но Руф на этот раз толчков и тычков не забоялся, от Ленки не отступался ни в какую, ни на шаг. Его вытащили без церемоний за шиворот крепкие высокие па-

цаны. Рассчитывали, видно, снабдить его добрым пенделем — и пускай несется с ревом восwoяси. В другом случае Руф, может быть, так бы и поступил, но тут-то кровное, почти родное, единственное хорошее в его жизни отбирали! И он со злобным рыком — басышко знаменитый уже прорезался — расстегнул на себе солдатский ремень и начищенной звездчатой бляхой с оттягом одного из обидчиков по заднице припечатал. Тот с воем — прочь, и все остальные от Руфа отстали. Малахольный, чего с него взять! Шпана!

Жаль, что вот Ленка, возле которой он теперь вполне заслуженно вертелся и дыхнуть на нее боялся, вскоре уехала. На прощание прижала к себе засмущавшегося Руфа, сочно и вполне умело поцеловала его прямо в губы. И больше не бывала в Городке...

Она присылала иногда письма, да из Руфа выходил плохой сочинитель ответов, с грамотешкой парень был не особо в ладах. Потом вся переписка заглохла. Однажды от Ленки все-таки опять пришло письмо. Руф как раз дембельнулся из доблестных войск стройбата, где все два года службы в северных лесах исправно обрубал сучки на поверженных в делянках деревьях. Ленка писала, что вышла замуж за одноклассника, лейтенанта, которого давно и преданно любила.

Руф напился с горя и выл, валяясь на крыльце, чем перепугал свою суровую мамашу. Может быть, впервые дрогнувшим голосом уговаривала она сыночка успокоиться...

— ...Ты надолго, Лена?

— Поживу, пока дом после дядюшки продаю.

### 3

Ленка привычно, гибкой кошкой запрыгнула за руль и со знакомыми требовательными нотками в голосе, как в далеком детстве, заторопила Руфа:

— Садись! Ну!

Тот с робостью потоптался возле серебристого цвета иномарки, наконец осторожно забрался в салон и что есть силы захлопнул дверку.

— Не в трактор же залез! — недовольно сморщила носик Ленка. — Закрывай аккуратно, как холодильник!

— А у меня дома только погреб! — простодушно вылупил на Ленку Руф.

Она захохотала, опустила с темечка на нос очки с задымленными стеклами и поддала газку по ровной ленте асфальта. За городом по буеракам проселочной дороги иномарка поползла и запреваливалась, как большая черепаха. Ленка берегла автомобиль, дальше бы и не поехала, кабы не хотелось туда, куда собрались с Руфом сразу, не сговариваясь, — на Лисьи горки.

Низенькие, поросшие редким сосняком горюшки далеко за городской окраиной Руф с Ленкой, другие ребята в летнюю пору навещали часто — мчались сюда на велосипедах за земляницей, плескались в тихой мелководной речушке рядом. Во взрослой жизни Руф избегал бывать здесь: не хотелось ему тревожить давнее, глубоко спрятанное в душе.

Сейчас он, выбравшись из автомобиля, с изумлением оглядывал горюшки или, вернее, то, что от них осталось. Там и сям безжалостно коверкали их безобразные ямы карьеров, валялись вывернутые с корнями засохшие сосенки.

— Колодчик-то цел, не знаешь? — подтолкнула Руфа Ленка.

Она, показалось ему, к бедламу вокруг отнеслась спокойно.

— Наверно... — промямлил все еще не пришедший толком в себя Руф и указал рукой на промятую в высокой траве в сторону от большака колею. Она, петляя, тянулась к кирпичному остову часовни на вершине холма.

— Я дорогу проверю! — Руф немного взбодрился и неуклюже, спотыкаясь, побежал по колее впереди автомобиля. Все такой же — на сухом коротконогом теле на длинной, по-мальчишески тонкой шее качается туда-сюда большой «шарабан» головы.

Ленка, наспех промокнув повлажневшие глаза, тихо тронула машину следом...

Колодец уцелел, кто-то даже подновил его сруб. Возле ворота, обмотанного цепью, поблескивало ведро. Холоденка, поднятая из гулкой глубины, обжигала до ломоты в зубах. Ленка засмеялась, зачерпнула из ведра полные пригоршни воды и плеснула на испуганно отпрянувшего Руфа. Потом гибким кошачьим движением дотянулась до него и чмокнула в бородатую щеку, совсем уж ошеломив бедного.

Выпала вечерняя роса, сухого пригорка, где бы можно было примоститься посидеть, не нашлось, и Ленка с Руфом забрались обратно в автомобиль. Ленка приглушила поуркивающий бодренькую мелодию динамик, попеняла усмешливо Руфу:

— Все молчишь да молчишь! Да меня боишься... Рассказал бы, как живешь!

— Плотничаю вот при храме...

— Из тебя, как и раньше, слово хоть клещами тащи! — вздохнула Ленка. — Давай уж тогда я о себе... Ты помнишь, я все дизайнером мечтала стать? Высокой моды. Ну и стала... инженером-проектировщиком на фабрике обуви. Фасоны разные разрабатывать. Замуж вышла. Помнишь, писала тебе? Считала, по любви. У меня будущий муж военное училище оканчивал, в доме жили — квартиры на одной площадке, отцы — сослуживцы, «военная кость». Другу моему диплом и распределение получать, а у нас уже дите намечилось. Возлюбленный мой было в сторону вильнул, вроде б как ни при чем он, но батька у меня — хват еще тот, недаром хохол! Пряником к начальнику училища! И пришлось свадебку справлять... — Ленка помолчала, вздохнула. — Потом — гарнизоны, загранка. Из Германии в перестройку нас выкинули. Мой-то муженек хоть и в майорских погонах, да с одной фуражкой в нашем городе оказался. Никому не нужен, ничего не умеет, только солдат гонять. Приткнулся куда-то охранником, и то уволили за что-то, полгода на работу без зарплаты ходил из принципа вроде как — судился. Да и спился совсем. Слабак... А я на обувную фабрику инженером по старой специальности устроилась. Надо ж сына поднимать, на кого надежда? Освоилась, а там подвернулась возможность выкупить производство за копейки. Теперь вот, кроме фабрики, еще и мастерская не одна у меня по городу. Всё моё, пошло дело... А муженек так под забором в одночасье и помер. Не любила я его. Так, красивенький в молодости был. После него заводились мужички разные — и голытьба-красавчики, и ровня мне, да тоже ни один к сердцу не припал. Всех, как только надоедали, бросала... А поехали со мной! — вдруг, прижавшись к Руфу, горячо зашептала Ленка. — Будем вместе! Ты понимаешь, как везет тебе, дурачку? Из грязи прямо в князи!

Но Руф опять затравленной испуганной псиной сжался в кресле — знал бы, как открыть дверцу, наверняка бы выскочил из машины.

Ленка отодвинулась от Руфа, горько усмехнулась уголком рта: эх ты, тяпа, тяпа!

— Ладно, подумай, реши! Самой мне на шею мужчинке вешаться несолидно. Прости...

## 4

Руф эти дни бродил в полном смятении. Нескольким раз он останавливался у крылечка Ленкиного дома, но зайти так и не решился.

И однажды увидел выходящих из калитки каких-то незнакомых людей, следом — Ленку.

— Все, продала дядюшкин дом! Прощай теперь, город детства! — высокопарно произнесла Ленка, когда, распрощавшись с покупателями, подошла к Руфу. Но не обняла, не расцеловала его без всякого стеснения, как при первой встрече, только взглянула на него пристально, оценивающе и сразу отстраняясь:

— Куда ты запропал? Меня избегаешь? Зря! Уезжаю вот сегодня... — она кивнула на свою иномарку. — Хотела уж к вам домой забежать, записку тебе оставить, — она помолчала. — Извини, взять тебя с собой не могу! У сына проблемы... Завел безродную шлюшку-девчонку, ребенок будет. Я давно сына отговаривала: распутайся, брось, тебе не пара эта подзаборная дурочка. И на аборт бы ее сама за руку стащила, и «бабок» бы отстегнула. А он уперся, ни в какую! Избаловала

я его, от армии отмазала, ни в чем нужды не знал. Позвонил, что уже поздно его подружке аборт делать, в квартиру мою ее привел.

Ленка встряхнула реденькими крашеными кудряшками. Смотреть в глаза Руфу она избегала и в бородатую щеку ему ткнулась холодными губами торопливо, ровно принуждая себя. И вовсе буднично добавила:

— Пора! Время — деньги! Извиняй, если что не так!

Она села в иномарку, захлопнула перед носом Руфа дверцу и напрочь отгородилась — мол, разные мы с тобою люди.

— А я и сам бы с тобой никуда не поехал, — промолвил наконец Руф. — И я ведь не игрушка.

Ленка посмотрела на него с удивлением, даже растерянно, но тотчас овладела собой и скривила презрительную гримаску на лице, наспех и чересчур нарумяненном и оттого еще больше постаревшем.

На перекрестке она притормозила и, высунув голову из окна, крикнула Руфу:

— Я тебе напишу!

Руф, проводив взглядом иномарку, уже отвернулся и смотрел в другую сторону — туда, где над крышами кирпичных и панельных коробок домов родного города тепло золотился в лучах солнца крест над храмом.

Пусть уж лучше останется та конопатая, рыженькая девчонка в безвозвратном далеком далеке...

## ПОМИНАЛЬНАЯ СВЕЧА

### рассказ

Сеу Изуверова дразнили попом. С длинными кучерявыми волосами, вьющейся бородкой, а к сорока — и с подвыпершим изрядно пузцом, он поначалу обижался на насмешников, даже подумывал сменить «имидж»: взять да и забраться наголо, «под Котовского». Но в последние годы, когда уже не в диковинку стал колокольный звон, там и сям пробивающийся сквозь

шум города, прозвище Изуверову даже льстило, хотя в церковь-то, откровенно говоря, он если и заходил в год раз — то событие.

Сева был не бомж, не «деклассированный элемент» — просто художник-оформитель, неудачник, к годкам своим начинающий со страхом понимать это. Не спасал дело и звучный псевдоним — Севастьян Изуверов, так-то по паспорту гражданин сей значился проще некуда — Александр Иванович Козлов.

Прежде халявных заказов и на предприятиях, и в школах было море, потом наступил спад, хоть зубы на полку клади, выслушивая попутно монотонные укоризненные причитания жены на

одну и ту же тему, что шея у нее не верблужья. Сева все-таки приноровился малевать для заведений новых русских барыг всякие вывески и транспаранты, так и жил от халтуры до халтуры. Все супружница, счетный работник, заполучив лишний рублишко, ворчала меньше.

В кладовке многие годы неприкосновенно пылились несколько подрамников с холстами с недописанными картинами. Жена грозилась выкинуть все, как ненужный хлам, но в последний момент каждый раз что-то удерживало ее. На всякий пожарный один холст, на котором угадывались очертания маленького домика возле реки, а над избой на высокой береговой круче сияли купола и кресты белоснежного храма-корабля, Изуверов припрятал понадежнее. По памяти родимщину свою пытался изобразить...

Очередной день для Севы начинался неважно. Он очнулся еще в потемках от духоты: словно кто-то ладонями безжалостно сдавливал ему сердце. Какое-то время Изуверов лежал неподвижно, вслушиваясь в собственное нутро, потом заворочался, намереваясь встать. Пружинны старенького дивана отозвались пронзительным долгим скрипом, но Сева не опасался кого-либо разбудить в своей келье-комнатушке. За стенкой в соседней комнате всегда мерно и мощно храпела жена — с ней не только что давно не спали вместе, но и друг к дружке не прикасались.

Сегодня Севу, с обычной ворчливой бубнежкой под нос продирающего глаза, насторожила непривычная тишина в квартире, но, окончательно оклемавшись, он чертыхнулся, вспомнив, что вчера супружница укатила по турпутевке в Питер, и для него настала, так сказать, свобода. Он вышел на балкон, взглянул на небо, обложенное тяжелыми темно-лиловыми тучами, поежился, опять прислушиваясь к боли в груди: «До грозы успею к врачу...»

Одному, да вдобавок больному, оставаться скверно.

У кабинета терапевта уже толклась очередь из пациентов. Народ стоял, больше терся у стен, хотя в рядке из десятка стульев пара была свободных. Изуверов поозирался и, стараясь принять страдальческий вид, примостился на свободный стул. И не рад этому был...

По соседству с обоих боков нахально обжимали легкомысленного вида девицу два крепких

парня — либо в подпитии, либо обкуренные. Они громко гоготали над своими же плоскими шуточками; «мамзель» заискивающе подхихикивала им дребезжащим смешком, жеманно уворачиваясь от их грубых лап. Для компании, кроме нее самой, вокруг вроде бы никого не существовало. На то в очереди пожилые тетki осуждающе поджимали губы, немногие мужички пугливо отводили глаза. Изуверов же как неосторожно примостился с компанией рядом, так и уставился напряженно в грязный пол под ногами, боясь лишний раз пошевелиться, вздрагивая только при слышном громких выкриках.

Еще один парень, помахиная какой-то бумажкой, топтался у двери кабинета. Проблеск фонаря-сигнала над дверью он прозеворонил; шустрый белоголовый старикашка шмыгнул мимо него к врачу.

— Вот борзой! Без очереди! — возгласил верзила возле Изуверова и погрозил, развязно ухмыляясь, пальцем. — Надо наказать!

И верно, едва старикан вывернулся от доктора, верзила поднялся и неторопливо, вразвалочку, побрел за ним на улицу. Другой лоботряс, пожиже и помельче, засеменял следом. Все в очереди, немо вопрошая, уставились на девицу. Та отрицательно замотала головой с нечесаной куделей крашенных волос, проговорила жалобно:

— Не знаю я их! Просто пристали ко мне! — и даже свои острые коленочки друг к дружке прижала, будто спрятаться норовя.

Изуверову показалось, что теперь все взгляды, ожидая, скрестились на нем, но он, еще больше клонясь к полу и не глядя ни на кого, выразительно приложил руку к сердцу.

С улицы через раскрытое окно донесся похожий на заячье вяканье вскрик старика или, может, это просто скрипнула дверь, выпуская из кабинета сотоварища хулиганов. Они уже топали из холла поликлиники ему навстречу:

— Взгрели дедка! Будет знать... Ты все? Погнали!..

Сердце у Изуверова болеть перестало. Он еще посидел какое-то время, удостоверившись в том, что боль ушла, а потом на полусогнутых, пряча глаза от людей в очереди, побрел к выходу.

«Струсил?! Как всегда?» — на крыльце кто-то невидимый спросил ехидненько, точь-в-точь голосом дражайшей супружницы.

«Да я!.. Сейчас что угодно могу сделать! — беззвучно возмутился Изуверов. — Хотя бы... в Городок немедленно поеду!» — сгоряча ляпнул он и осекся.

На родине своей, в маленьком городишке, он не сразу бы и припомнил, сколько лет не бывал. Там, возле речки, должен достаивать свой век дедов дом: за участок земли на всякий случай исправно платила налоги жена — у нее все всегда по полочкам разложено. Севу тянуло туда, где детство прошло, но пуще желалось закатиться в родной Городок знаменитостью, да вот беда, все не удавалось ею стать. Изуверов до седых волос тешился несбыточной мечтой, так мчались год за годом, и теперь уж он стал страшиться туда, все-го-то за сотню километров, наведаться.

«Что? Или... или?! — поддел все тот же ехидный голосок. — Хулиганы-то, вон они, у ларька пиво трескают, подойди и вразуми! Или — в Городок?!»

Изуверов для храбрости прошел на вокзале через рюмочную и почти всю дорогу до Городка благополучно подремал, к удовольствию, еще и сосед попался не болтливый.

Едва Сева вылез из автобуса и побрел было от неказистой хибары автостанции по мало чем изменившейся за минувшие годы улочке Городка, хлынул заполошный ливень. Грозовые тучи, может быть, еще душили большой город, но здесь под угрюмое сверкание молний и раскаты грома дождевые струи хлестали почем зря. Изуверов юркнул под первый же навес и столкнулся с молодым цыганом, испуганно забившимся в угол. Как раз в это время неистово объяло всю окрестность ярко-сиреневым светом, взметнулся воздушный вихрь — и высоченная железная труба кочегарки напротив через улицу разломилась пополам, верхняя ее половина рухнула на землю. И тотчас шарахнуло так, что под ногами Севы ощутимо запрыгали доски крылечка. Цыганок перекрестился и, лопоча что-то свое, заполз в собачий лаз под крыльцом. Струхнувшего было тоже Изуверова это чрезвычайно развеселило:

— Смотри, ромал, как надо!

Сева сдернул с себя рубаху и бесшабашно подставил голову и плечи под теплый дождь, хоча, заскакал, как пацаненок, по лужам.

Ливень стих, в воздухе еще дрожала изморось, а высоко в небе расцветала радуга. Вскоре Севе

голопузым бегать по улице показалось несолидно, и он с грехом пополам влез в мокрую рубаху. Но старался понапрасну — городок будто вымер. Изуверов дошел до речки на окраине, до дедовского дома на берегу оставалось шаг шагнуть, и хоть бы кто живой попался навстречу.

Сева даже вздрогнул от неожиданности, когда из глухого переулочка вывернулись двое. Высокий парень, сжимая за горло бутылку с недопитым пивом, смерил Севу презрительным взглядом и прошел мимо, а вот женщина, тоже с пивком, вовсю тарасила на Изуверова изумленные черные глаза:

— Вы... ты это не Саня Козлов случаем?

Сева так привык к своему псевдоимени, что не сразу и отозвался, пытаясь припомнить, кто это такая, — больно на кого-то похожая.

Дамочка, мало не ровесница Изуверову, оказалась особой решительной: полненькая, невысокого ростика, с копешкой кудрявых волос на голове, подпрыгнула и повисла у него на шее, мокрыми толстыми губами пьяно тычась ему в бородатые щеки.

— Санечка! Козлик! Неужели это ты! Ведь ты для меня, ты для меня... ну святой прямо!

«Да это же Кнопка! Васьки Фута, одноклассника, сестра!» — осенило наконец Изуверова.

Как две капли воды на братца похожая, не шепелявит только. У того «шут» так «фут» или «парафут» — разговаривает, ровно камешника в рот набрал. Он был паренек тихий и миролюбивый, а вот сестренка норова задиристого и неуступчивого. Любому обидчику в школе могла запросто кулачком нос расквасить, а то и куда побольнее лягнуть. Изуверов на всякий случай начал осторожно пятиться и, чтобы ослабить напор назойливых ласк, додумался спросить Кнопку про брата. А то уж та на шее висла — не продохнешь, а грубо ее отпихнуть — вдруг себе дорожке выйдет. Своего спутника Верка спровадила, сделав ему выразительно ручкой; парень, презрительно хмыкнув, нехотя побрел прочь.

Услышав про братца, Верка отпрянула, измазанный помадой рот ее скривился, из глаз хлынули слезы, и, громко всхлипывая, она опять зарылась лицом в грудь Изуверову:

— Погиб Васенька! В лесу на делянке и выпили-то с мужиками малость, а тут хозяин нагрнул. У Васьки последнее предупреждение, он за

лесовоз и спрятался. А тот возьми да сдайся назад — Васю к стволу дерева и припечатало... Много ли времени с того минуло, а уж все брата моего забыли. Ты помнишь...

Верка еще повсхлипывала, потом отлепилась от Изуверова, сжала запястье его руки крепкими горячими пальцами и потянула за собой:

— Пойдем ко мне!..

Сева почему-то ожидал, что Верка увлечет его в какой-нибудь бардачок, конуру с грязной посудой на столе и с промятой койкой с прожженным искрами от сигарет и закинутым несвежей простыней матрацем, но, переступив порог жилища, он без приглашения стал стаскивать с ног промокшие грязные ботинки. В доме было без затей, дорогой мебели и ковров, зато по-деревенски чисто и просто, даже бумажные иконки в шкафу за стеклом красовались.

Верка укатилась за занавеску в другую комнату и через минутку вернулась, облаченная в просторный халат.

— Тебе тоже обсушиться надо. Но сначала — изнутри! — улыбнулась понимающе.

Мокрую рубаху, разгорячившись после парочки пропущенных стакашков, Изуверов расстегнул, но тут же запахнул полы обратно, стесняясь выползающего из-под брючного ремня немалым бугром пуза.

Верка же неотрывно пялила на Севу восхищенные влюбчивые глаза:

— Ты, Санечка, особенный еще с малолетства, со школы. Не такой, как все.

— А сами же меня дразнили мазилом и бумагомараньем! Проходу не давали!

— Завидовали! Ведь вон какие картинки ты рисовал! И просто так, и на всякие выставки. Ты теперь, наверное, у себя в городе великий художник!

— Есть немного, конечно... — уклончиво, скромно потупившись, промывчал Изуверов.

— А тут живешь — как не живешь... Учетчицей в дорожной шараге работаю. Мужики — лапти мазутные! кобели проклятые! — клянутся, а дома свой, постылый, дожидается. Опротивел, спасу нет! На рыбалку лешего унесло, пьянствует, сволочь. Ты из другого мира, солнышко...

Гневные морщинки на Веркином лбу разгладились, она опять заулыбалась Севе, маняще заблизывала языком пересохшие губы.

— Вы там всякое, небось, рисуете... И баб тоже, — она замялась было, но задорно встряхнула своей копной кудряшек на голове. — Меня бы ты смог нарисовать?

Верка выпросталась из халата — он бесформенным кулем опал на пол, и тотчас стыдливо прикрылась ладошкой, потупив глазки.

Изуверов, старательно корча скучающую мину профессионала и разглядывая пухленькое кургузое Веркино тело, белеющее в полумраке комнаты, вспомнил еще одну обидную школьную кличку Верки — Овечьи ножки. Было затлевший уголек страстишки в Севе безнадежно потух, он еле сдержал себя, чтобы по-идиотски не расхохотаться.

Тут что-то хлопнуло в сенях или на крыльце, заставило насторожиться. Верка подняла и накинула халат:

— Если муженек это мой благоверный возвратился и выступать начнет, так я его быстро с крыльца-то налажу! Бывало уже не раз. И не вякнет — на моей шее сидит.

Тревога оказалась напрасной: за дверью — никого. Но Изуверов, увертываясь от нетерпеливых Веркиных объятий, скользнул в темноту, в кусты возле крыльца.

— Я сейчас...

Он, стараясь ступать как можно неслышнее, удалился уже порядочно от Веркиного дома, когда расслышал ее зовущий голос, поначалу тихий, но потом звучащий громче и громче.

— Санечка! Саня!..

«Вот баба! Ничего не боится!» — с невольным восхищением пробормотал Изуверов, из темного проулка выбегая на освещенную тусклым светом фонарей центральную улицу.

Таких поклонниц ему еще не встречалось. Впрочем, и были ли они когда-нибудь? Но как все-таки это сладко!..

И нового поклонения опять возжаждала неизбалованная вниманием публики душа художника Изуверова!

На улице было по-прежнему пусто, хоть бы встретился кто, даже в окнах домов ни огонька. Сева с неутолимой жадой общения побрел обратно от реки в гору, к автостанции, где бодро плясали какие-то разноцветные светлячки. Вблизи они оказались гирляндой из лампочек над зарешеченной витриной круглосуточного



ларька. Рядом издавал мелодичные трели игровой автомат — зараза эта везде добралась; тут же возле серебристой «Тойоты» топтались несколько парней с обритыми наголо башками, потягивая из банок пиво и то и дело подобострастно поглядывая на лупоглазого сухощавого, Изуверову под годы, мужичка. К «быкам» бы Сева еще подумал подойти, задал бы в целях самосохранения порядочного круголя, но мужик этот, постоянно обшаривавший настороженным взглядом лягушачьи блестящих глаз окрестность, привлек его внимание. Да он же из параллельного класса!.. Как его там звать?!

Память Севы предательски дала сбой насчет имени и фамилии, а паренька-то он вспомнил, так и встал тот перед глазами — в алом пионерском галстуке и с сияющим медным горном в руке на школьной линейке. Открытое лицо, аккуратно зачесанные назад русые волосы. Все знали, что у мальчишки дома кавардак, вечно под «мухой» родители, да и как не знать, если в ту пору на любую улицу приходилось всего по двое-трое пьяниц, а то и ни одного. Но парнишка с младых ногтей следил за собой, не позволял себе заявиться в школу мятым или рваным, лез во все общественные дела и учился, хоть и давалось учение туговато, — из кожи вон! Оболтусам его часто ставили в пример — погодите, вот вырастет и будет из него толк: космонавт или общественный деятель!..

Чего ж он тут, среди бандитов, делает? Если, конечно, это он...

Изуверов, уверяя себя, что только ради любопытства решил подойти к мужику и, назвав его первым пришедшим на ум именем, осторожно протянул ему руку.

— Не ошибаешься? — мужик не торопился с ответным рукопожатием и холодным взглядом своих водянистых глаз обстоятельно ощупывал Севу с ног до головы. Память у него оказалась лучше: — Олег я... А ты — Козлик, бедный художник?

То, что поименовали его забытой школьной кличкой, Изуверову не понравилось, но в окружении бритоголовых, поглядывающих на него насмешливо-презрительно и выжидающе, оставалось заискивающе заулыбаться.

— Может, дернем по пивку?! — отчаянно предложил Сева, нашаривая мелочь в кармане.

Олег усмехнулся и открыл дверцу «Тойоты»:

— Садись, угощай!

Автомобиль резко взял с места и стремительно понесся под гору, к реке. Косясь на молчаливых угрюмых спутников, Изуверов окончательно струхнул, у моста через речку робко спросился выйти и причину нашел — дом родной еще не успел проведать.

— Сиди уж! — коротко бросил Олег, и Сева с тревожно затрепыхавшимся сердечком вжался в сиденье.

Впрочем, все страхи были преждевременны: на другом берегу в свете фар выкурнула придорожная кафешка. В тесной забегаловке под ор магнитофона тусовалась кое-какая молодежка. Для вновь прибывших тотчас освободили столик, и не успел Сева толком примоститься за ним на железной табуретке напротив Олега, а уже на поверхности стола пышно запенилось пиво в стеклянных кружках, появилась добрая горка подobaющей закуски: вяленая рыбка, соленые орешки и прочая хреновина. У Изуверова потекли ручьем голодные слюнки; Олег, лениво глотнув раз-другой пива из кружки и глядя насмешливо на поглощающего спешно яства Севу — у Верки-то не до того было — спросил:

— Малюешь все потихоньку, не забросил?.. Больно ты на попа похож. Уж не туда ли затесался?

Сева с набитым ртом, кивая, промычал что-то невнятное.

— Недосуг мне, — Олег, недопив кружку, встал и ушел.

Скучать одному Изуверову не пришлось: тут же подсели какие-то рожи и разомлевшему от выпивки и внимания Севе выложили все про негданного спонсора. Что и он — «крутизна» местного масштаба, и не один магазинишко в городке имеет, и вообще, всех и вся держит в своих крепких ручках несостоявшийся космонавт.

Яства на столике моментально исчезли — Сева, успев обожраться, о дармовщинке не сожалел. Растворились, прикрываясь завесой табачного дыма, и собеседники. Остался только напротив, на Олеговом месте, паренек. Пуча восторженно лягушачьи глаза на Изуверова, он спросил, сильно заикаясь:

— Пра-правда, вы ба-атюшка?

Сева, пусть и раскис, да определил, что по-

хожий на Олега парень — не того и не маленько: неподвижное, точно маска, личико, странный блеск в глазах. Но становилось опять скучно, за столик никто больше не лез, и Сева кивнул утвердительно — называй хоть горшком, лишь в печку не суй.

На лицо паренька набежала счастливая блаженная улыбка; он перегнулся через столик и принялся целовать, смачно шлепая губами, Изуверову руку.

Сева поспешно отдернул свою клешню и, смущенный, заозирался. Только, похоже, никто на это не обратил внимания: немногочисленные посетители по-прежнему пили, закусывали и галдели. Но было и приятно, Изуверова даже взбудорила собственная, пусть и мнимая, значимость: дурачок преданно пялился ему в рот, словно норовя угадать и тотчас исполнить любое желание, говорил заискивающе:

— Ба-атюшка, вы у-устали? Не хотите отдохнуть в ти-иши, у камина? Для меня па-апа О-оля дом строит...

Соблазнился Изуверов то ли обещанным камином, а пуще — лестью. Стоило ему пошевелиться, и пареньек, подскочив, предупредительно распахнул дверь на улицу. Изуверов очутился опять в автомобиле, правда, много поплоче папиного. Паренек повел его рывками, виляя по дороге. Проскочив мостик и попетляв по берегу, он заехал в середину громадной лужи перед темным остовом новостройки. Изуверов различил слабый колышущийся свет в большом, аркой, окне на нижнем этаже. Олегов отпрыск, не выключая фар, выскочил из кабины и зашлепал по воде:

— Тут мосточки, ба-атюшка! А тут ступеньки! — он бережно поддерживал Севу под руку; в темной пещере холла Изуверов и сам, будто слепец, вцепился в паренька.

Но вот отворилась дверь — и в глубине пустынной комнаты с высоким потолком приветливо затрепетало пламя костра. Всю мебель составлял стол с остатками явно роскошной трапезы и несколько стульев. Паренек подвинул один из них поближе к камину.

— Приса-аживайтесь, ба-атюшка, грейтесь!

Изуверов, приободрившись на свету, величественно пошагал от порога: пусть и чужой почет, да все равно уважение! Незадача толь-

ко: путь Севе преградил сладко дрыхнувший на подброшенной на полу фуфаечке в аккурат перед камином гражданин. Невзрачно одетый, со стриженной головой, немолодой, свернулся калачиком — наверняка сторож, и хо-рош, нажрался, небось, хозяйских объедков. Изуверов небрежно потыкал его под бок носком ботинка: подвинься, дай дорожку!

Внутри спящего словно взведенный механизм сработал — мгновение, и уже мужичок сидел на корточках, встревоженно хлупая глазами.

— Это ба-атюшка! — начал успокаивать его молодой хозяин.

Мужик, высохший, как скелетина, до того, что одежка свободно болталась на нем, поднялся, сел за стол, по-прежнему хмуро и недоверчиво поглядывая щелками заплывших глаз на землистом сером лице.

Изуверов все-таки узнал его — Вовка Кроль! Даже в горле пересохло!..

Пока Сева благополучно заканчивал старшие классы в школе, ровесник Кроль успел отмотать срок на «малолетке». Потом по городку он бродил — пальцы веером, хулиганистая пацанва взирала на него как на героя, а тихони, наслушавшись мамкиных страшилок, бежали от него прочь да дальше. Изуверов уезжал учиться в большой город, с ним же в одно время увозили после суда в «воронке» Кроля — опять кого-то в задницу ножиком пырнул...

— Выпейте за знакомство, за дружбу! — Олегов наследник разлил водку по стаканам.

Не чокаясь, молча, все так же не отрывая от Севы холодного взгляда, Кроль нехотя, сквозь остатки гнилых зубов, выцедил угощение; Изуверов хлопнул залпом. Вовка жестко усмехнулся, кивнул хозяину: налей еще! Сева, заворуженно уставившись на сцепленные на столе руки Кроля с вытатуированными на пальцах перстнями, опять хлопнул стакан — отказаться не посмел.

Уркаган с хищной усмешкой качнулся, поплыл куда-то в сторону; у Севы первоначальный, из детства ещё, испуг перед ним прошел, захотелось быть с Кролем на равных. Изуверов попытался «заботать по фене», сам не понимая смысла корявых похабных слов — но ныне они щедро сыпались со всех сторон, потому без труда соскальзывали с языка.

Кроль, приторно корча изумленную харю, вро-

де внимал, потом вдруг мягким кошачьим прыжком шмыгнул к Севе:

— Какой ты к хрену батюшка! Матюг на матюг городишь!

Он резко дернул Изуверова за ворот рубахи — пуговицы пулями отскочили.

— И креста на тебе нет! Фуфло гонишь, фраер!

Глаза Кроля недобро сузились, вовсе превратились в щелки; он, не выпуская из кулака закрученного в узел ворота изуверовской рубахи, другой рукой медленно подвинул к себе по столешнице кухонный ножик.

Оцепеневшему Изуверову вспомнилась картинка из детства: широкий пенёк в школьном дворе, несколько первоклашек, обступивших его, на трухлявой поверхности пня извиваются толстые темно-бурые дождевые черви, и Вовка полосует их бритвой на куски; на чистеньком личике мальчишки жестокое и одновременно любопытствующее выражение.

Сейчас было оно и на землистой, сморщенной, как печеное яблоко, небритой харе старого уголовного.

Рядом заливисто и истерично захохотал, хлопая себя ладонями по ляжкам и словно бы предвкушая удовольствие, юный хозяин. Это и привело Изуверова в себя, он рванулся, оставляя ворот рубахи в кролевском кулаке; лезвие ножа, блеснув, прочертило по предплечью длинную розовую бороздку. Сева, сопровождаемый диким хохотом, выбежал из комнаты в темень холла, различил прямоугольник дверного проема, сунулся туда и со всего маху плюхнулся в лужу у подъезда. Расшибся о камешник на дне, но встал кое-как на карачки, чтобы не захлебнуться. Вот сейчас запрыгнет ему на спину Кроль и начнет полосовать изнеженное тело кухонным хлебобрезом! Вспомнился Изуверову тот прошлым утром зажатый отморожками старичок в поликлинике, которому никто не посмел поспешить на помощь...

Неужели всё?! Молиться Сева не умел, ни одного слова молитв не знал, забегал иногда в храм, из любопытства рот разинув, и потому выдавил из себя только просительно-горькое: «Помоги...»

Яркий свет ослепил Изуверова. Сева, булькаясь в воде, пополз на него и услышал голос Олега:

— Чего его окучили-то?

— Он не ба-атюшка! — обиженным разочарованным голоском провякал сыночек в ответ папаше.

— Сам, что ли, вам сказал?

Олег кивнул водителю, и тот, ражий детина, выволок Изуверова за остатки рубахи из лужи, поставил перед «шефом».

— Делайте что хотите, только не убивайте... — жалобно простонал трясущийся Сева.

— Кому ты нужен, кто ты есть? — хмыкнул Олег. — Иди, да больше нам не попадайся!

Детина увесисто хлопнул Изуверова по шее, подталкивая, и Сева побрел прочь, выписывая нетвердыми шагами кривули по улочке.

— Эй! — окликнул его Олег. — Может, ты и на самом деле батюшка, тогда простишь нам грехи!..

Ноги сами приволокли Севу к дому Верки: забрезжил робко рассвет. Изуверов, поначалу неуверенно, а потом с силою и зло принялся бухать кулаком в дверь. Показалось, дрогнула занавеска в окне.

— Я это!.. Я... Вернулся! — обрадованно, с надеждой, застучал Сева скрюченной пятерней себя в грудь и испуганно замолк, не узнавая собственного хриплого, словно придуряченного, голоса.

Он подождал еще какое-то время, с досадой пнул так и не открывшуюся дверь, чертыхаясь, поковылял дальше.

Оказывается, спяну он кружил по одному и тому же пятаку — не успел отойти от покосившегося забора Веркиного дома, а уже опять рядом зачернели арки незастекленных окон новостройки местной крутизны. На них — чертыхнуться да шарахнуться прочь. И все-то каких полсотни шагов ступить — на речном берегу, на пригорочке; вот он, родительский дом или, вернее, то, что от него осталось! За хлипкой изгородью — кто-то из дальней родни не запускал огород — виднелась крыша с дырой вместо печной трубы; домишко по самые подоконники ушел в землю, словно обидчиво набычил пустые провалы окошек на покинувших его хозяев. Им еще интересовались, находились желающие его купить; разузнав городской адрес Изуверова, они посылали письма с предложениями, но практич-

ная супружница выжидала, набивая цену, а Сева было как-то все равно.

Теперь он с опаскою, согнувшись в три погибели, лез в окно, хотя ему и бояться, что придавит, нечего — потолок давно обвалился, концы толстенных плах-потолочин торчали там и тут из-под земляной насыпи. Со стен свисала большими лоскутами обивка со слоями обоев. Изуверов, продвигаясь все так же ползком, нашел ощупью сухое место и затих, ощутив за старыми стенами защиту. Вжимаясь в землю, он хныкал, поначалу жалобно, по-щенячьи, скулил; потом обида стала перетекать в ярость. Сева подполз к оконному проему, приподнялся и увидел возвышающийся неподалеку особняк Олега.

«Гады, сволочи, куркули! — он погрозил перемазанным в земле кулаком. — Ну, ничего, вы сейчас набегааетесь без порток!»

И внезапно пришедшей мысли страшно обрадовался, даже еще толком не успев осознать ее...

Зажигалка в заднем кармане брюк была на месте, стоило разок чиркнуть — и тут же она выбросила острое жало огонька. Клок отсыревших обоев долго не загорался, тлел, наконец робкое пламя нашло пласт сухой бумаги и зазмеилось по стене.

Сева, надышавшись чаду и отплевываясь, выбрался из избы и потрусил вниз по берегу, к речной пойме, в ивовые кусты.

«Напляшетесь еще! Попомните меня!»

Был тот утренний час, когда, суля ясный день, только-только поднималось солнце, задорно пересвистывались птахи, народ еще спал самым безмятежным сном. С противоположного берега вдруг донесся мелодичный звук — с шатра колокольни церкви на горушке, где на погосте под старыми деревьями покоились отец и мать, два старших брата Изуверова.

«Туда надо было сразу сходить, проведать...» — встрепенулось болезненно и горько у Севы в груди, отодвигая озлобление и удушье обиды. — Трава там у них, в оградке, наверно не ниже, чем здесь. Сто лет не бывал!»

В непрямой луговине речной поймы он вымок до пояса, неосторожно задетый ивовый куст окатил его, освежая, щедрой росой.

Переливчатый радостный звон к заутрени оборвался, и тяжело, грузно ударил тревожный набат. Изуверов оглянулся назад, на домики городка; на мгновение привиделись ему лица: сумрачно-хмурое — отца и испуганное, доброе — матери: «Сынок, что ж ты вытворил-то...»

Пламя в считанные минуты опряло стены и крышу дома; Сева, давась криком, бросился к нему, пылающему одинокой громадной поминальной свечой.

### **Николай Александрович ТОЛСТИКОВ**

*родился в 1958 году в г. Кадникове Вологодской области.*

*Окончил Литературный институт им. А.М. Горького,*

*Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет.*

*Священник храма святителя Николая во Владычной слободе Вологды.*

*Публиковался в российских и зарубежных изданиях, сборниках.*

*Автор книг «Пожинатели плодов», «Без креста»,*

*«Лазарева суббота», «Приходские повести».*

*Награжден медалью Василия Шукшина,*

*учрежденной Союзом писателей России, и др.*

*Лауреат премии журнала «Север» за 2021 год.*

*Член Союза писателей России.*

